

Дариса СКЛЯРУК

два романа
о времени и о любви



Горечь
сердца

Лариса Склярук
Горечь сердца (сборник)

«У Никитских ворот»

2018

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6.44

Склярук Л. М.

Горечь сердца (сборник) / Л. М. Склярук — «У Никитских
ворот», 2018

ISBN 978-5-00095-638-0

Действие романа «Горечь сердца» протекает на юге России с 1913 по 1943 годы и рассказывает о простых, обычных людях, судьбы которых складываются и меняются вместе с судьбой страны. Каждый из героев совершает в своей жизни особый, по-своему героический поступок, не считая его таковым. И у каждого от несправедливости мира остаётся горечь в сердце. Роман «Предательство» рассказывает о судьбе прелестной, истинно тургеневской девушки в современном мире. Это история искренней любви, подлого предательства и справедливого возмездия.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6.44

ISBN 978-5-00095-638-0

© Склярук Л. М., 2018
© У Никитских ворот, 2018

Содержание

Горечь сердца	6
Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	18
Глава четвёртая	24
Глава пятая	26
Глава шестая	29
Глава седьмая	33
Глава восьмая	35
Глава девятая	38
Глава десятая	42
Глава одиннадцатая	45
Глава двенадцатая	46
Глава тринадцатая	48
Глава четырнадцатая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Лариса Склярук

Горечь сердца

Романы

* * *

© Склярук Л. М., 2018

© Оформление ИПО «У Никитских ворот», 2018

Горечь сердца

*Времена не выбирают
В них живут и умирают.*

Александр Кушниц

Глава первая

1913 г.

С той стороны огорода, что выходила к пруду, росли высокие стебли пижмы с золотистыми корзиночками соцветий. В зарослях резко и сильно пахло камфарой. Надоедливо жужжали насекомые. Васса легла на спину. Теперь жёлтые цветы качались высоко над головой, а над ними в бездонном небе, подобно белым ягням, тянулись невинные облака.

– Васса, – раздалось почти рядом с зарослями пижмы. Девочки зажали ладонями рты и, силясь сдержать смех, смотрели друг на друга всё больше расширяющимися глазами. Ещё секунда – и они не выдержат, прыснут. Сквозь стебли они видели мать, осматривающую грядки.

– Удрала. Ну, погоди, негодница, собачье мясо, вернёшься домой... – мать раздражённо погрозила рукой в пространство. От окрика матери у Вассы ёкнуло сердце, она дёрнулась выскочить из своего убежища, но, чувствуя некоторое стеснение перед подругой, осталась на месте.

По тропинке вдоль огорода шла соседка с коромыслом и пустыми вёдрами. Увидев мать, соседка облокотилась на жерди изгороди, пропела словоохотливо и любопытно:

– Аль ищешь чегой, Ульяна?

Мать промолчала и ещё раз придирчиво оглядела огород. Прошла вдоль тщательно прополотых грядок с морковью и редькой, постояла возле куч вянущей белёсой полыни и серебристо-мучнистой лебеды, сваленных рядом с жердями изгороди, и наконец пошла к дому.

– Слова не обронит, – недовольно проворчала соседка и, в сердцах сломав стебель подсолнуха, доверчиво просунувшего ярко-жёлтую головку сквозь жерди изгороди, пошла к колодцу. Постукивали деревянные круги в вёдрах¹.

Когда цветастая юбка соседки исчезла за поворотом, Васса и Таисия на четвереньках вылезли из зарослей.

– Все руки крапивой обожгло, – пожаловалась Таиска, потрянув головой с растрёпанными белыми волосами. Её чистенькое личико с россыпью весёлых веснушек сморщилось. Она сплюнула:

– Ну и горький же этот приворотник².

– Расплевалась тут. Кто тебя заставлял его в рот тащить? Бежим к копанке³.

Держась за руки, девочки побежали вниз, в сторону пруда. От быстрого бега просторные сорочки надулись пузырями. Крепкие грязные пятки ударили по высушенной зноем земле, поднимая облака пыли. Сизая пыль чернозёма ложилась на длинные подолы, на голые голени

¹ Плоские деревянные круги клали на воду в вёдрах для того, чтобы вода при ходьбе не расплещивалась.

² *Приворотник* — одно из названий пижмы. Считалось, что растение способно привлекать парня к девушке.

³ *Копанка* – пруд

худых ног. Рядом с тропинкой, словно наперегонки с девочками, бежали их смешные кургузые тени. Чинно, нога в ногу, вышагивающие цепочкой гуси испуганно разлетелись в стороны.

На деревянном помосте, протянувшемся в пруд, бабы били вальками бельё, полоскали в воде. Девочки пробежали мимо них по размытому спуску и у старой ивы скинули одежду. Пахло тиной. Подавившись своим страстным кваканьем, испуганные лягушки попрыгали в воду. Только слышалось: «Хлюп, хлюп, хлюп». Девочки сиганули следом. Белые кувшинки закачались над овальными изумрудными листьями.

Прохладная вода ласкала размякшие от жары тела. Пальцы ног вязли в тине и водорослях. Нырнув, Таисья захватила большой ком земли со дна и, вынырнув, швырнула им в Вассу. Та завизжала, – так просто, от радости жизни.

С холма к пруду, в облаке пыли и комаров, резво спускалось стадо. Звякал колокольчик. Коровы, торопясь укрыться в воде от донимавших их оводов, сбивались в кучу. Пастух хлётко щёлкал кнутом, наводя порядок.

Войдя в воду, коровы начали шумно пить. Навоз и моча всплыли на поверхность пруда, образуя жёлто-коричневую жижу.

– Куда привел, олух царя небесного, – возмущённо кричали прачки на мостках, – отгони дальше! Всё бельё об...ли, зачем и стирали...

С чмоканьем вытаскивая из тины ноги, девочки взобрались на берег, натянули сорочки на мокрые плечи и, смеясь, пошли прочь.

– Эй, Васка, а что я у тебя сейчас видел... – сказал, подходя, пастушонок Сёмка, глядя на девочку синими глазами. Васса слегка покраснела, но спросила насмешливо и задорно: – Ну и как?

Сёмка шумно втянул носом воздух, поправил огромное ружьё, мотавшееся за спиной.

– Хотелось бы поближе. Не разглядел.

– Дурень, брешешь ты всё, – Васса с силой толкнула паренька. Тот засеменил ногами, размахнул руки в стороны, и всё же, не удержавшись, опрокинулся.

– Ну, суки голозадые, не балуй, – прохрипел он, сидя на земле и подражая взрослым парням.

– Ах ты, срамник окаянный. Ругаться научился. Гляди, Васка, какое ружжо у него. В корову-то не попади, оглашенный, как волков стрелять будешь. Охотник, – презрительно протянула Таисья и захохотала: – Что глазами-то лупаешь?

Девочки неспешно пошли в сторону села.

– Вечером пойдем погулять?

– Не знаю. Ежели мамка пустит.

– Да, сейчас задаст она тебе.

– А то. Хворостиной так отстегает, что и сидеть не сможешь. Неделю полосы по всему заду будут.

Дом Михеевых стоял в стороне от остальных домов села, на бугре. Большой, добротный, в две просторные горницы, железом крытый. Стены дома обмазаны глиной, чисто выбелены. Рядом с домом – сарай и погреб под соломенной, шалашом, крышей. За домом – сад. Вишни, яблони.

Сам Михеев Антип Дорофеич был мужчиной невысоким, но крепким, кряжистым. Открытое, полное достоинства лицо обрамляла лопатообразная борода. Тёмно-русые волосы, пробитые сединой, стрижены в кружок. Из-под кустистых бровей смотрели на мир пристальные глаза.

Жена его, Ульяна Афанасьевна, – высокая, худая, неутомимая и безжалобная. Тонкие губы её всегда были плотно сжаты, брови строго сдвинуты, лицо замкнуто, волосы убраны под тёмный платок. Родила она двенадцать душ детей, выжило четверо. Остальные умерли в малолетстве.

Старший сын Фёдор, семнадцати лет, сильно походил на отца. И ростом, и станом, и повадкой. Те же тёмно-русые волосы, стриженные в кружок, те же пристальные глаза. Вассе исполнилось тринадцать, Домне – десять, и самому маленькому члену семьи – Глебушке – едва сравнялось пять. Жил в семье и отец хозяина, Дорофей Кузьмич. В поле работать он уже не мог, но старик и во дворе никогда не лишний. И за водой сходить, и дров нарубить, и люльку покачать.

Подходя к дому, Васса замедлила шаги, остановилась у плетня, кусая губы. В надежде что-то придумать и миновать материнское наказание осматривала двор, теребила лепестки мальвы, и они падали к её ногам, пламенели каплями. Ничего не придумав, девочка вздохнула, поднялась на порог, потянула на себя дверь и шагнула в сенцы.

В полутёмных чистых сенцах пахло сухим деревом, укропом, луком, сывороткой. Из комнаты доносился истошный детский плач.

Неожиданно мать не стала ругать Вассу Ульяна сидела на лавке, прижимая к себе Глебку. Она повернула к дочери расстроенное лицо:

– Ну где тебя бесы носят? Мужики счас придут, обедать пора, а он орёт не переставая.

Обрадованная таким поворотом дела, Васса подхватила братца. Ребёнок зашёлся в плаче.

– Ну чего ты, чего? Донька, дай потешку.

Домна метнулась, подала деревянного грубо раскрашенного солдатика. Стояла рядом, переминаясь босыми ногами, жалостливо глядя на плачущего брата.

– Да что болит?

– Спинка. Спинка болит, – стонал Глебушка.

– Он с кровати упал, – объяснила Доня, виновато шмыгнув носом.

– А ты куда смотрела?

Доня промолчала. Сидя на лавке, Васса нежно гладила ребёнку спину. Ребёнок постепенно смолк и, устав от плача, задремал, во сне вздрагивая и всхлипывая.

– А-а-а, – тягуче тянула Васса песню без слов. Со двора вошли мужчины. Запахло дёгтем и потом.

Семья жила в достатке. Мать поставила на чистый, выскобленный ножом, стол большую миску шей с солониной, таких жирных, что и не проднешь, гречневую кашу с топлёным маслом. Васса почувствовала, что голодна. Она встала и тихонько положила мальчика на лавку.

– Спинка, спинка, – вновь заплакал ребёнок.

– Ну и что тут у вас деется? – спросил отец.

– Да Глебка с кровати упал. Спину зашиб.

– Так невысоко же.

– Да он с боковины свалился.

– С боковины... – протянул Фёдор и, повернув голову, посмотрел сквозь дверной проём во вторую небольшую комнату и оглядел кровать. Это была громоздкая широкая кровать, занимавшая половину горницы. Её массивные деревянные боковины, расписанные сочными цветами, высились почти в рост человека. Накрытая кружевным покрывалом с горой ярких вышитых подушек, она являла собой видимый достаток и служила предметом гордости хозяев.

– Забрался наверх да и кувыркнулся туда, за кровать, – быстро затараторила Домна, набивая рот кашей. Антип Дорофеич посмотрел на дочь, не спеша облизал свою деревянную ложку и крепко стукнул ложкой по лбу девочки. Раздался звон. Домна на мгновение оторопела, затем заревела с открытым ртом.

– Почему не смотрела, дармоедка? Только жрать горазда.

– Васса, Васса виновата. Купаться бегала, а я мамке помогала, картошку чистила.

На лавке вновь жалобно заплакал ребёнок:

– Спинка, спинка болит.

– Отец, запряги лошадь. Надо бы в околоток к фелдшару.

– Сдурела, баба. Это ж двадцать вёрст. Да ещё поедет ли фелдшар в телеге-то? Ему экипаж подавай. Да за визит заплати три рубля, а то и все пять. Разве ж охота фелдшару в село?

– А может, к Степану сбежать? Он человек учёный. Даст что-нибудь от спины-то. Надьсь бабке Лукерье давал чего-то. Кажись, помогло, – нерешительно предложила Васса. Отец посмотрел на неё, словно раздумывая над её словами, потом отрезал:

– Так обойдётся. Спаси Христос. Авось отлежится.

Начинался покос. А покос для крестьянина – вещь необыкновенно Испокон веку покос – время горячее. Зима в России долгая, холодная. Не заготовишь сено – скот помрёт от бескормицы. Выехали на дальние луга всей семьёй, оставив дома прихворнувшего Глебушку и Дорофея Кузьмича для пригляда.

Расположились возле ручья в тени молодого березняка. Косили утром по росе, торопились. По влажной траве легче косится. Под ровными ударами косы густая трава ложилась прямыми рядами. Громко и мелодично стрекотали цикады. Пестрота цветов, сладкий запах свежескошенной травы пьянил. Поднимаясь всё выше, солнце насыщало воздух жаром. Запах травы становился одуряюще душным. Солнце нещадно кололо глаза, палило зноем, мучило. Сохли губы. Тело наполнялось тягучей усталостью.

Скошенную траву Ульяна, Васса, Домна целый день растрёпывали рукоятками грабель, подставляя под солнце, под ветер. К вечеру просохшее за день сено собирали в копны.

– Ставь, ставь копну повыше, чтоб дождь не пробил, – кричал Антип на жену, на Вассу. Те устало молчали, выравнивая холмики пахучих стогов.

– Внял, внял Бог нашей мужицкой молитве. Всё уродилось на редкость в этот год – и травы, и хлебы, и картошка, да и лён неплох, – сказал Антип, садясь на свежескошенную траву ужинать. Сквозь выцветший ситец рубахи на спине и под мышками проступили тёмные пятна пота.

Вытерев пучком травы прилипшую к косе травяную мелочь, Фёдор взял в руки жбан с квасом, выцедил половину, обтёр рот.

– Чего же вы тогда, тятенька, всё ругаетесь, загоняли всех?

– Поговори мне, пустоболт. Зимой отдыхать будешь.

Вечерами, умывшись в ручье, накормив семью, Ульяна ходила в деревню проведать Глебушку. Как он там, маленький, сердешный... Васса с Таисией, с венками на волосах, отрывая цепкие руки Доньки от своих цветастых ситцевых подолов – мала ещё гулять – убегали на луг водить хороводы. Фёдор, сменив рубаху и расчесав роскошный чуб, шёл любезничать с девицами в ближнем леске.

У шалаша и затухающего костерка оставались лишь Антип Дорофеич и Доня. Девочка сидела, натянув рубашку на колени, сердитая, надутая, обиженная на сестру. Антип Дорофеич, посмеиваясь, поглаживал заскорузлыми пальцами дочь по волосам. Отмякни, мол, не сердись. А она капризно отодвигалась из-под его руки и ещё сильнее надувала губы, грознее сводила брови. Умора, да и только. Ветер обвевал прохладой утомлённое тело. Глухо шумели чуть видные в ночи берёзы.

В деревню вернулись спустя три недели. А Глебушка к тому времени действительно отлежался. Ходил, правда, всё ножку приволакивал и на спинку жаловался. Да некогда было его и услышать.

Но потом все стали замечать неладное. Плечи у ребёнка наклонились вперёд, спина приобрела неестественный изгиб. И рот мальчика постоянно был приоткрыт, словно ему стало не хватать воздуха.

В простенке между окнами висело зеркало – небольшое, зеленоватое, в ржавых пятнах по краям. Мальчик отходил подальше, чтобы видеть себя, вставал бочком, за спину заглядывал и спрашивал:

– Мамушка, а что это у меня на спине-то?

Ульяна молчала, лишь губы покусывала. Порой бросала нехотя:

– Уймись, надоел. Лезь на печь.

– Васса, а что это у меня на спине? У вас такого нету. А, Васса?

Васса подсаживала Глебушку на печь, испытывая к братику острую жалость.

Зимой Глебушка простудился и умер. Пока отец в сарае ладил гробик, Глебушка в чистой рубашке, со сложенными на груди ручонками, белой восковой куклой лежал на лавке. Лежал кривовато, с неестественно выпяченной грудью. Горбик мешал ему лежать ровно, и он всё клонил голову в сторону.

Сквозь замёрзшее окно с трудом пробирался тусклый свет декабрьского солнца, углы горницы терялись в сизом полумраке. Зеркало в простенке мать завесила простынёй, сказала сумрачно:

– Чтоб усопший в зеркале не отразился да и кого-ни будь за собой не увёл.

Васса и Домна с напряжёнными лицами сидели на лавке напротив мёртвого братца, не в силах отвести глаз. Усопший – слово-то какое страшное...

– Слышь, Васса, – шептала Домна, – девчата говорили, покойник всё слышит. Лежит так вот, глазки закрыты, не взглянет, ни рученькой, ни ноженькой шевельнуть не может, а слышит всё.

У Вассы от ужаса мороз пробежал по коже. Она дёрнулась, толкнула плечом сестру. Молчи, мол. Но та не унималась, и голос её был чужим, беспощадным:

– И в гробу лежит – всё слышит, и гроб уже заколотят, и в могилку опустят, а он всё слышит, болезный, и только когда горсть землицы на крышку гроба бросят – всё, больше не слышит.

– А потом? – спросила Васса севшим от страха голосом, глядя на сестру огромными глазами.

– Не знаю.

Под лавкой стучали копытцами ягнята, повизгивал поросёнок. На печи шуршали тараканы. Со двора доносился тоскливый собачий вой. В углу с закрытыми глазами, уронив плечи, сидел дед Дорофей. Редкие слезинки текли по впалым его задеревеневшим щекам, застревали в глубоких морщинах, в белой бороде.

Отец понёс гроб. Фёдор шагал рядом. Васса плелась сзади, смотрела им в спины сквозь покрытые инеем ресницы. Ноги по колено увязали в снегу. Мамкин тулуп, надетый поверх полушубка, тянулся следом. День был декабрьский – тёмный, тусклый. Сумрачное небо всё ниже спускалось к земле. Руки костенели от стужи. От порывов жёсткого ветра на краю погоста жалко дрожали лозинки⁴. Разносило злое карканье ворон. В мёрзлой земле с трудом отрыли могилку. Быстро засыпали.

Васса без сил добралась до дома. Сбросив у порога тулуп, кинулась к сидящей на лавке матери, упала перед ней на колени, уткнула лицо в подол платья и заревела. Перед глазами стоял Глебушка, его милое круглое лицо, доверчивые глаза и наивный вопрос:

– Что это у меня? Что?

Потом она вспомнила, что малыш остался там, на погосте, один в ледяной могиле, и рыдания начали сотрясать её с новой силой. Ей было жутко, и всё представлялось, что это не Глебушка, а она лежит там. Она не объясняла себе, что её сильнее ранило – потеря братца или страх смерти, которая на этот раз подошла так близко, что можно было заглянуть в её пустые глаза. В голове всё вертелась мучительная мысль: неужели и она может умереть, и её, такую молодую, сильную, упрячут в холодную, ледяную яму?

Рыдания Вассы подхватила и Доня. Свесила с печи растрёпанную русую голову, заскулила тоненьким голоском, как ушибленный щенок. А мать, раскачиваясь, поглаживала тяжё-

⁴ Лозинки — ивы.

лыми шершавыми руками Вассу по голове и плечам, словно заранее сознавая будущее дочери, словно говоря: «И на твою долю горя хватит».

– Бог не без милости. Прибрал калеку. Не придётся ему мучиться, – внезапно услышала Васса ровный голос матери. Она отстранилась. Глаза у матери были сухи, губы сурово сжаты, лицо каменно.

– Да захлебнись ты уже, – прикрикнула Ульяна на скулящую Домну.

«Как жить, – думала Васса, – если жизнь так устроена, что порой смерть – благо?»

Она ещё не могла увидеть сквозь каменное лицо нестерпимую боль, ножом режущую сердце.

Глава вторая

В распахнутое окно влетела золотисто-зелёная муха. Противно жужжа, присела на потный лоб Соломона. Портной мотнул головой, муха отлетела и тут же назойливо спикировала на выдвинутую в усердии нижнюю губу.

– Тьфу ты, мерзость, – сплюнул мужчина, не в силах оторвать взгляд от последних стежков. Он спешил. Муха, словно в раздумье, на мгновение повисла в воздухе, но то ли ей не понравился солёный пот Соломона, то ли более привлекательным показался запах навоза, принесённый ветром со двора соседа, – насекомое вылетело в окно и исчезло.

Соломон сделал последний стежок, откусил конец нити и удовлетворённо разгладил шов. Затем он спустил ноги с помоста, на котором сидел, выпрямился и выгнул усталую спину так, что раздался хруст суставов.

– Соня, грей утюги.

– Закончил? – спросила Соня, входя в комнату, и по интонации её голоса было неясно, довольна ли женщина окончанием работы мужа или, напротив, обеспокоена.

Соня подошла ближе, держа вверх мокрые руки, которые до локтя были покрыты мыльной пеной. В комнате сильнее запахло грязным бельём, щёлоком, нищетой.

– Закончил. Закончил. Сейчас отпарю и отнесу.

Горячий утюг неспешно задвигался по грубому сукну, разглаживая толстые швы. Сложив сюртук и завернув его в старую простыню, Соломон, не выпуская пакета из рук, наскоро пригладил правой рукой пряди бороды и торчащие из-под ермолки в разные стороны отросшие кудрявые волосы тусклого серого цвета, одёрнул широкие рукава рубахи и, сочтя себя совершенно готовым, вышел из дома.

Устало примостившись на краю помоста возле окна, Соня проводила взглядом уходящего мужа. Смотрела, как он идёт, расставляя в стороны затёкшие от постоянного сидения турецки ноги, как беспокойно поддёргивает рукой штаны, подпоясанные верёвкой, как нервно поводит плечом. Возбуждённо-радостный и жалкий, сломленный непреходящим горем.

Вся жизнь Сони прошла в трудах и тревогах. Бог наградил её детьми. Все, слава Всевышнему, выросли. Почти все. В доме остались лишь младшие – десятилетняя Рая и девятилетний Иосиф. Но ведь и их надо поставить на ноги, и их надо вывести в люди.

Соня была женщиной маленькой, худенькой, раньше срока постаревшей. Лицо её ещё сохранило молодую миловидность, но по тонкой коже уже разбежались многочисленные морщинки, делающие лицо похожим на печёное яблоко. Большие тёмные глаза были полны глубокой печали. А на увядших щеках горел нездоровый румянец.

Женщина вздохнула, и этот вздох закончился сухим кашлем. Откашлявшись, она обтерла фартуком бледные губы и в страхе долго смотрела на кровавые сгустки, оставшиеся на линялой ткани. На лбу её выступили крупные капли пота. В жутком отчаянии, погружённая в невесёлые думы, женщина сжала перед грудью крупные натруженные руки с набухшими суставами. Боль и тяжесть в груди постепенно прошли.

– Что же я сижу... – сказала она себе. Но, спустившись с крыльца, женщина отсутствующим взглядом посмотрела на корыто с бельём, в котором возилась Рая, затем решительно сняла серый фартук, перевязала платок, одёрнула засученные рукава и, бросив дочери: «Скоро вернусь», – быстрым шагом направилась в хедер⁵.

Стоптанные каблуки старых башмаков глухо стучали по деревянному настилу узкого тротуара. В протёртую на подошве дыру заскочил камешек с дороги, стал натирать палец.

⁵ Хедер — еврейская начальная религиозная школа.

В сумрачном доме меламеда⁶ Нохума была лишь одна комната. В центре её стоял широкий деревянный стол. Вдоль стола на грубо сколоченных скамьях сидели мальчики разного возраста. Ближе к учителю сидели малыши. Их головы, покрытые кепи, были едва видны из-под крышки стола. Порой, приустав, мальчики опускали головки на доски и задрёмывали, тут же получая подзатыльники. За дальним концом стола сидели ученики постарше. Кто, открыв рот, слушал проповедь учителя, кто рассеянно болтал ногами и крутил пальцами пейсы.

В углу комнаты стояла большая плохо выбеленная русская печь, уже почерневшая от пыли и сажи. Возле печи, стоя на коленях и пытаясь её разжечь, возился один из мальчиков. Дебелая Зелда, жена меламеда, ожесточённо месила толстыми руками тесто и привычно беззлбно ругала своего неуклюжего помощника:

– Болван, бездельник, да разве так разжигают? Добавь щепок, добавь, говорю, упрямец, урод. Надавать бы тебе оплеух, да руки заняты.

Тут Зелда увидела Соню, тон её голоса совершенно поменялся, и она заговорила приветливо и сладко:

– Соня, душа моя, проходите, проходите. Чем могу вам помочь?

Соня натянуто улыбнулась и, не отвечая хозяйке, обратилась сразу к учителю:

– Прошу прощения, ребе, что я помешала занятиям, но не могли бы вы отпустить Иосифа сейчас со мной? Он мне очень нужен.

Коротышка Нохум поднял на женщину слезящиеся глаза, затем взглянул на жену, подошедшую ближе и продолжавшую мять в руках тесто. Мука сыпалась на пол. Увлечённая происходящим хозяйка этого не замечала.

Зелда выразительно взглянула на мужа и жалеюще – на Соню. Соня занервничала. Конечно же, в штетле⁷ всё на виду, и, конечно же, все знают о её несчастье, и уже сотни раз она выслушивала и сожаления соседей, и их советы. Но сегодня у неё просто нет сил. Соня подошла к скамье, взяла за руку сына и потянула его за собой.

Ученики проводили Иосифа завистливыми взглядами. Какая прекрасная возможность провести время, а ведь до заката ещё далеко. У Иосифа хвастливо блеснули зелёные глаза. Вот вам всем. Он уходит.

Когда они вышли на улицу, Соня оглядела мальчика. Иосик был красив. Кожа по-детски пухлого лица была светлой, кудри – чёрными. Прозрачные зелёные мечтательные глаза под ровными густыми бровями окружали пушистые ресницы. Под немного крупноватым носом нежно розовели губы. У женщины, как и всегда при взгляде на сына, защемило сердце. Как он беззащитен... Что принесёт ему жизнь?

Соня сняла кепку с головы мальчика и попыталась растопыренной пятернёй расчесать его кудри, потом, послунявив пальцы, пригладила пейсы, отряхнула штаны и рубаху, расползающиеся по швам, отметив, где вечером вновь надо наложить заплатки. Взяла мальчика за руку, и они пошли. Иосик не мог идти спокойно, он подпрыгивал на ходу через каждые несколько шагов и старался выдернуть свою ладонь из руки матери.

Узкие улочки, изрытые ухабами, круто изгибались, заканчиваясь переулками и тупиками. Бедные домишки в одну комнату, крытые соломой, словно пьяницы, клонились в разные стороны. Подгнившие деревянные заборы то словно падали на тротуары, то запрокидывались в сады. Навстречу шёл водонос с двумя полными вёдрами, раскачивающимися на коромыслах.

«Хорошая примета», – подумала Соня.

Перед домами на деревянных крылечках сидели женщины, вязали чулки из чёрной шерсти. Они провожали Соню любопытными взглядами, качали головами, шушукались, сплетничали, чесали языки.

⁶ Меламед — учитель в хедере.

⁷ Штетл — местечко (идиш) с населением от тысячи до двадцати тысяч человек.

Мужчины в длинных рваных засаленных балахонах собирались группами, пощипывали бороды, толковали, осуждали.

– Виданное ли дело – еврей-пьяница? С ума, видно, он сошёл. Конечно, можно в праздник и в корчму зайти, медовой настойки выпить – тёмно-коричневой, сладкой и крепкой. Но не каждый же божий день.

– А какой портной был, какой портной... Субботний кафтан⁸ из камлота⁹ сошьёт – носишь не сносишь. А заплатку так наложит, что и с трёх шагов не видно. А перелицевать вещь как умел... Из старых брюк новые делал. Талант.

– Был талант, да весь вышел. Вы видели, как руки у него трясутся? Да он скоро ниткой в игольное ушко не попадёт.

– Правовой еврей обязан трижды в день молиться, а его теперь в синагогу и не затащишь. На Всевышнего он осмелился обидеться.

– Бог дал, Бог взял. Смириться надо.

– Ренегат, – важно щегольнул новым словечком Берл. Он считался очень образованным. Ему первому разрешалось читать приходившие в местечко газеты.

Со стуком распахнулось окно, и из него раздался визгливый голос Фрумы:

– Соня, куда путь держишь? Да почему ты молчишь, не отвечаешь? Посмотрите-ка, соседушки, на эту гордячку.

– А ты не лезь со своими расспросами, – быстро отбрила Фруму одна из женщин.

– Ах так? – задетая за живое Фрума выскочила из дверей и широким жестом выплеснула помои под ноги Сони. Орава босоногой чумазой малышни, радостно вопя, помчалась вдоль улицы.

Соня шла сквозь эти взгляды, словно на казнь, словно с неё живой сдирали кожу. Она ёжилась и молчала, и опускала глаза. Хотя и знала, что не со зла всё это, – просто люди любопытны, просто чужие дела занимают их порой больше, чем свои.

Стыдно, ох как стыдно идти за мужем в корчму, где пропивает он деньги, полученные за работу. Но чем же будет она справлять субботнюю трапезу? В доме хоть шаром покати. Что ж ей, приличной женщине, словно нищей, идти к синагоге? Там у входа все скамьи заняты нищими и попрошайками. После молитвы их пригласят к семейным столам, всех по домам разберут, никого не забудут, никого голодным не оставят. Но я скорей умру от голода, чем пойду просить подаяния. Я-то умру, а дети как же? Ой, горе мне, горе. Ой, стыд-то какой!

Несчастье произошло прошлой осенью. Умер средний сын. И с его смертью пришло в дом разорение. Муж не мог простить Всевышнему эту смерть. Он обращался к Богу не с мольбой, а с претензией, с негодующим воплем, жалуясь на его суровость.

– Как ты мог быть таким жестоким? – громко вопрошал Соломон Бога. – Отнять такого сына! Как самостоятельно «плавал он по морю Талмуда». Он достиг бы высокого уровня учёности, он бы возвысил себя, и отца, и семью. Сердце моё разрывается на части. О, добрый сын мой, почему так быстро скрылся ты с глаз моих?

Горе снадало Соломона, и он запил. Пропивал всё, что зарабатывал. Семье доставались лишь гроши, которые Соня находила в его карманах. Рухнуло и без того шаткое благополучие семьи.

Соня не обладала бурным темпераментом многих местечковых дам и их безостановочной речью, сыпавшей на головы своих мужей вороха проклятий. Она была скорей молчальницей.

– Тем хуже для неё, – прозорливо сказала как-то Зелда.

⁸ *Кафтан* — верхнее долгополое мужское платье.

⁹ *Камлот* — рыхлая шерстяная ткань. Дешёвые сорта камлота делались из хлопка.

Соня не проклинала мужа и всё надеялась, что тот образумится и вновь возьмёт на себя заботы о пропитании семьи. И будут жить они тихо, скромно, но прилично, довольствуясь скудным достатком. Она не давала безнадёжности овладеть ею. Она не сдавалась.

Корчма стояла в стороне от дороги. Приземистое широкое здание из толстых досок, небрежно поставленное на фундамент из камней. Соня присела на пень. Её грудь от усталости часто вздымалась. Женщина словно не могла надышаться.

– Иди, Иосик, найди отца. Скажи, я жду его здесь.

Мальчик повернулся, нерешительно пошёл к двери корчмы. Взобрался на затоптанный порожек. За дверью раздавался гул от десятков голосов. Иосик повернулся, взглянул на мать, словно спросил: «Ты и вправду хочешь, чтобы я вошёл туда?»

Соня утвердительно кивнула головой. Мальчик толкнул дверь. На секунду голоса усилились.

Войдя в помещение с низким потолком и закопчёнными стенами, Иосик едва не задохнулся от удушливого смрада. Пахло сивухой и пивом, тяжёлым мужским потом, разлагающимся конским навозом. Под ногами на затоптанном полу валялись окурки, яичная скорлупа. Сквозь густую махорочную синеву перед глазами ребёнка замелькали распаренные припухшие физиономии посетителей, закоптелые лица спящих половых. Грязь и убожество.

Мальчика затошнило, в глазах у него потемнело. Он судорожно втянул в себя нечистый воздух и, справившись с тошнотой, побрёл по корчме, заглядывая в лица.

Одни пьющие тянули напитки с лицами безжизненно-равнодушными, другие были нервными, дёргаными, крикливыми, дымили папиросами, сосали глиняные трубки.

Соломона Иосиф отыскал в дальнем углу. Отец сидел за столом, покрытым грязной скатертью неопределённого цвета. Концы скатерти были засморканы. На столе среди пустых и полных бутылок горела свеча. Соломон обеими руками колотил себя в грудь и всхлипывал.

– Пойдём. Пойдём. Там мама, – задёргал Иосик край рубахи отца.

Выпивая, Соломон знал, что ему будет очень плохо. Что он будет страдать и физически, и нравственно, бесконечно укоряя себя в своей слабости. Но то состояние, которое он испытывал после трёх стаканов вина – состояние облегчённой радости, даже эйфории, когда всё кажется не тяжело и не страшно, состояние пьяного восторга, пусть недолгое – тянуло и притягивало к себе. Отказаться от него у Соломона не было сил.

Держа сына за руку, Соломон неверной походкой вышел из корчмы. Его мягкая физиономия заискивающе улыбалась. Голова приятно кружилась. Горе временно утонуло в пьяном тумане.

Лицо Сони раздваивалось. Усилием воли Соломон пытался удержать раздвоение Сони, но вторая Соня мягко отъезжала и отъезжала в сторону. Соломон напрягал зрение. Соня возвращалась, сливалась в единое целое и вновь раздваивалась. Соломон ухмыльнулся пьяно и глупо. Хотел что-то сказать, но качнулся и, продолжая нелепо улыбаться, опёрся на худенькое плечо Иосика.

Сумрачное лицо жены тревожило и раздражало. Соломону не хотелось возвращения в сумрак. Он пьяно таращил глаза, переступал с ноги на ногу.

– Зачем ты здесь, жена? Позоришь меня перед людьми.

– Всю неделю дети не видели мяса, всю неделю ели чёрный хлеб с луком. Завтра суббота, мне нужны деньги.

Соня протянула ладонь, словно за подающим. Соломон пожевал губами, неуверенно принялся искать по карманам. Протянул несколько грошей. Соня посмотрела на монетки и тихо заплакала. Морщинки её лица пришли в движение, задёргался подбородок, и крупные капли неслышно потекли по ложбинкам искривлённых губ, срываясь и падая в пыль дороги.

Соломон продолжал стоять, опираясь всей тяжестью своего тела на шуплое плечо мальчика. Эта тяжесть мешала Иосифу рвануться к матери, уткнуть лицо в подол её платья, согреть

своими хрупкими руками зябкие её колени. Он не мог шевельнуться, он лишь открыл рот, словно намеревался зарыдать, но молчал.

Косые лучи заходящего солнца окрасили золотом соломенные крыши. Тишина постепенно разливалась над местечком. С лугов, окружавших штетл, долетел сладкий запах сена. На пруду важно заквкали лягушки. Назойливо застрекотали кузнечики. Неприятно прозвучал одинокий крик неведомой птицы.

На безбрежном небе стали проявляться звёзды. И странное чувство охватило Соню. Словно она уже осталась одна под этими холодными, ледяными звёздами. Слезы её высохли. По бледному лицу разлилось равнодушие. Глаза приобрели нездешний блеск.

Через месяц Соня слегла. Евреи народ жалостливый, сердобольный. Её навещали, приносили еду, гладили по щекам бедных деток, совали им то яблоко, то пряник. Соломон вяло топтался в комнате, не зная, чем помочь больной. Все в доме со страхом предчувствовали беду.

Прикованная к постели, медленно угасая, Соня сжимала в руках окровавленный платок, смотрела тоскующим взглядом на детей, на свой дом, приходящий в полный упадок.

Пока она могла ходить, эта мужественная женщина сражалась с бедностью, как с главным своим врагом. Не жалея себя, она мыла, стирала, скребла полы, заколачивала дыры в старом полу, и бедность не так бросалась в глаза, но теперь, когда Соня слегла, разорение полезло из всех углов дома. Оно наполнило углы комнаты мелким сором, шевелило усами чёрных тараканов из щелей стены, высывалось мордочками мышей из прогрызаемых в полу дыр, пахло грязным бельём, селёдкой, луком, керосином, помоями, запустением, болезнью.

Забившись в угол, Иосик смотрел на мать испуганными глазами. Ему ещё было не дано постичь всю тяжесть надвигающегося на него несчастья. Но когда он изредка встречался глазами с лихорадочным взором матери, на его светлые глазки навёртывались слёзы. И тогда Соня говорила:

– Иди, иди, погуляй, Иоселе. Что тебе здесь делать?

Иосик убежал на улицу.

Ещё через месяц больной стало совсем плохо. Она перестала разговаривать, и теперь даже участь детей, их будущее не могли заставить её выйти из тяжкого раздумья. На старой перине, комковатой подушке, прикрытая лоскутным одеялом, ещё более похудевшая, она смотрела ввалившимися глазами в потолок. Лицо приобрело восковую бледность, губы превратились в две бледные полоски. Навещающие Соломона соседи шептали:

– Глаза стали уходить под лоб. Это конец.

Соня умерла на исходе холодной октябрьской ночи. Лениво занимался мутный рассвет. Дождь то накрапывал, то унимался, то моросил опять. Со всех концов городка люди пришли проститься с Соней. Битком набились в маленькую комнату. Слышались женские рыдания. Тяжко вздыхала толстая Зелда.

В полном людей доме детей задвинули в угол. И они сидели там, несчастные, брошенные, держались за руки. Не плакали, не вполне осознавая, что происходит.

Соломон, казалось, и вовсе отупел. Семь дней он просидел на полу, сам окаменевший и безучастный, уставившись застывшим взглядом в одинокую тусклую сальную свечу, горящую перед кривым обмазанным глиной окном. Медленно стекал жир на засаленный медный подсвечник. Сквозь окно глядел серый вечер, и жуткая тоска вползала во все углы комнаты. Плечи Соломона были сгорблены, руки дрожали, тело высохло, щёки глубоко ввалились. «Всё кончено!» – думал Соломон, окончательно отделённый от остальных тяжкой мукой великой вины и тоски. В душе его было пусто и глухо. Дети боялись его отчуждения и не подходили к нему.

После смерти жены Соломон вновь запил. Как-то февральским вечером, выйдя из корчмы, он заблудился, долго бродил, не находя дороги. Промёрз. Добравшись до дома, слёг, и вскоре его не стало.

Четыре еврея почти бегом отнесли умершего на кладбище. Десять стариков прочли зауспокойную молитву: «Боже всемилостивый, обитающий в горних высях! Даруй блаженный покой под крылами величия Твоего, на ступенях святых, пречистых, сияющих небесным лучезарным светом, душе, отошедшей в твой мир».

И вновь дети уныло сидели у холодной печи. Они знали, что их разлучат. Раю забирала старшая сестра Минда, а Иосика должен был забрать брат Пиня. Так, во всяком случае, думали соседки, обсуждая между собой судьбу сирот.

- Копель Золах богат. Владеет продуктовой лавкой.
- Магазин у него, магазин колбасный.
- Будет сирота как сыр в масле кататься.
- Ну, хоть в этом ему повезло.

Брат Пиня был шуплым молодым мужчиной с острым носом, редкой бородкой, встревоженными глазами. Одет он был довольно безвкусно, хотя и в соответствии с модой того времени, что вызвало в местечке много разговоров. На нём были узкие брюки, туго застёгнутый пиджак, стоячий, жёстко накрахмаленный воротничок, мягкая фетровая шляпа, чёрные туфли на пуговицах. Местные косились на Пиню.

В своем поведении Пиня был неровен и ненужно суетлив. Он часто останавливался и на мгновение замирал, словно в сомнении, словно ожидая дальнейших приказаний. Встретив ждущий взгляд Носика, обнимал мальчика, прижимал к себе под умилённую, растроганную воркотню женщин.

Носик растерянно утыкался носом в гладкую холодную ткань жилета. Соседки причмокивали от восхищения губами. Но Пиня, уже отстранив мальчика, задумчиво смотрел в окно. Печаль и беспокойство мешались на его лице, подёргивали мягкие губы. Поведение Пини пугало и без того испуганного, потрясённого Носика.

Уже давно уехала Минда, забрав с собой Раю и остатки Сониной посуды, а Пиня всё ходил по старому разорённому дому, бормотал что-то под нос, жестикулировал, словно готовил речь. Носик всё сильнее съёживался на лавке в углу. Может быть, если он станет меньше, Пине легче будет забрать его с собой.

На улице возле дома Пиню ждал экипаж. Угрюмый возчик в старой поддёвке¹⁰ и засаленном картузе сидел на ступеньке крыльца, поигрывал кнутом в рыжих ручищах. Соседские мальчишки бродили вокруг, с упоением разглядывая сидение, туго набитое волосом и обтянутое синим потёртым сукном. Порой кто-нибудь из смельчаков, протянув руку, дотрагивался до сидения, чтобы удостовериться, что оно мягкое, или пытался поднять кожаный складной верх брички. Извозчик неприязненно взглядывал на сорванцов из-под кустистых бровей, и дети, восторженно визжа, бросались врассыпную.

– Где твои вещи? – спросил наконец Пиня. Иосик встал, прижимая к себе пёстрый платок, в котором лежали его бельё и рубашки. Пиня посмотрел на жалкий узелок, вздохнул и взял Иосика за руку. Ему больше нечего было делать в этом доме.

Извозчик снял с лошадиной морды торбу с овсом, залез на козлы, удобно устроился и смачно чмокнул:

- Но! Поехали!

Лошадь не спеша затрусила по просёлочной дороге, мягко зашуршали колёса по песку. Мальчишки бежали следом за экипажем, глотая пыль.

¹⁰ Поддёвка — мужская верхняя одежда, род лёгкого пальто с мелкими сборками на талии.

Глава третья

В Харьков они приехали вечером. Город потряс воображение мальчика. Он никогда не покидал местечка и никогда ещё не видел ничего столь роскошного. И чего тут только не было, в этом городе!

Золотые лучи заходящего солнца скользили по зданиям из жёлтого, серого, красного кирпича, по деревьям, по широкому каменному мосту через реку Лопань. Празднично светились масляные фонари. Зеркальные витрины магазинов блистали шелками и украшениями.

По улицам неспешной непрерывной волной двигались гуляющие. Мужчины в кургузых пиджачках вели под руки удивительно красивых женщин в громоздких шляпах с перьями. Звонко цокали лошадиные подковы по булыжной мостовой, слышались крики извозчиков, голоса прохожих, фабричные гудки. Прогромыхал жёлто-красный электрический трамвай. И над всем этим городским шумом, как бы поверх него, плыл густой колокольный звон. Колокола пели, благовестя к вечерне.

Приоткрыв от изумления рот, стараясь ничего не пропустить из проносящихся перед глазами чудес, Иосик вертел головой так, что у него в конце концов заболела шея.

Оставив позади шумные улицы, экипаж подъехал к одноэтажному деревянному дому, оштукатуренному и выкрашенному в голубой цвет. Вывеска, написанная светлыми буквами по тёмному кровельному железу, гласила: «Копель Зорах. Вина и закуски».

Булыжная мостовая перед домом поросла травой, что придавало тихой улице провинциальный вид. Старый фонарь на углу часто замигал, затем громко зашипел и погас. На крыльце соседнего дома кудрявый парень в картузе лениво растягивал меха гармошки. Лузгая семечки, хихикали девушки.

– Прибавить надо, господин хороший. Дорога очень плохая, да и ждать пришлось долго, – привычно гнусаво затвердил извозчик.

– Заплачу, сколько подряжались, – нервно отрезал Пиня, скользнув беспокойным взглядом по окнам дома. Возчик смачно сплюнул.

В тёмной прихожей было две тяжёлые двери. Одна вела в жилую часть дома, вторая – в лавку. В большой комнате, оклеенной обоями, у стола сидел грузный пожилой мужчина с благообразной внешностью. Почтенная седая борода ложилась на грудь, высокий лоб прорезали морщины, в глубоких глазницах прятались небольшие глаза. Жёсткий нос сильно выдавался вперёд. Это и был Копель Зорах, тесть Пини.

Надев очки, мужчина внимательно оглядел Носика. Под взглядом Копеля мальчик переминался с ноги на ногу, не понимая этого взгляда, но ощущая его явную недоброжелательность.

Копель Зорах не так давно покинул штетл, но уже ощущал себя городским жителем. Разбогатевший и чванливый, он не желал иметь родственников из местечка. Это обстоятельство бросало на него неблагоприятный отсвет. Всё же у него не какая-то там лавчонка для бедняков с окрестных улиц. Покупатели его, Копеля, магазина – приличные обеспеченные люди. И прибавление родни в виде нищего мальчика его, естественно, не радовало. Нищие родственники никому не нужны, с ними не хотят демонстрировать знакомства. Хотя иногда можно пожертвовать им какую-либо старую ненужную вещь, приятно ощутив себя при этом благодетелем.

В комнату вошла тучная женщина, остановилась поодаль, демонстративно сложив руки под огромной подтянутой корсетом грудью. Лицо её было гладким, круглым и розовым, как бок поросёнка. Второй подбородок вялыми брылями свисал над шеей. Иосик улыбнулся, наклонил голову, сказал вежливо:

– Шалом.

Голда посмотрела отстранённым взглядом. Достала из буфета тарелку с кусочками колбасы, поставила на стол.

Голодный мальчик ел поспешно. После каждого проглоченного им куса Иосик вскидывал на женщину заискивающе-виноватый, по-детски преданный взгляд и пытался улыбнуться. Ему так хотелось понравиться ей и тому суровому старику, что сидел в кресле.

Копель смотрел на мальчика, сокрушаясь и о его великом аппетите, и о предстоящих хлопотах:

– Документы придётся выправлять. За чертой только богатым да образованным жить разрешено. Не хочет царь-батюшка распустить бедных евреев по всей России.

В комнату медленно вплыла томная красавица с мелкими чертами лица и причёской из взбитых волос, жена Пини – Тайбель. Женщина была беременна. Её большой живот натягивал чёрное платье. Тайбель незаметно поглаживала рукой живот и, словно вся сосредоточенная на новых своих ощущениях, смотрела на окружающих равнодушными коровьими глазами. Она поднесла к глазам странные очки без дужек. Иосиф только позднее узнал, что эта вещь называлась лорнетом и была в чести у харьковских модниц.

– Мама, прикажите его выкупать. Вдруг у него вши. И пейсы эти отрежьте, – брезгливо протянула Тайбель. Иосик быстро прижал пейсы ладошками к щекам, вскинув на Тайбель огромные от смятения глаза.

– Поел? – спросила Голда. Иосик сглотнул и хотел сказать, что он поел бы ещё немного, но, из робости соглашаясь, кивнул головой. Женщина протянула руку и, забрав тарелку с едой, заперла её в буфет.

Постелили Иосику в углу комнаты. Лёжа на полу, на старом рваном одеяле, свернувшись в жалкий комочек, мальчик долго горько плакал, постепенно осознавая всю непоправимость своих потерь. Это было особенно тяжело для восприимчивого, эмоционального ребёнка, каким был Иосик. Он жестоко страдал от отчуждения, от холодности, с которыми к нему отнеслись. Ведь он не только потерял родителей, он ещё и выпал из привычной ему среды местечка. Пусть жалкой и мелочной, серой и трагичной, но родной и, главное, понятной. Перенесённый в другую обстановку, он терял и привычные слова, и привычные жесты. Жестокий чужой мир окружал его, и, казалось, не было в нём никого, кто бы пожалел несчастного мальчика. Как тяжело быть без близких... Как тяжело чувствовать, что ты не нужен, что тебя не любят... Но во сколько раз это тяжелее ребёнку, который ещё совершенно не защищен, который ещё не нашёл в своей душе утешения, который ещё цепляется взглядом за каждого взрослого, благожелательно на него взглянувшего, и словно молит безмолвно, широко распахнутыми глазами – ну полюби меня, полюби, полюби.

Ощущение одиночества было настолько острым, что, казалось, Иосик не мог вздохнуть. Невыразимо тяжкие слёзы текли ручьями. В полном отчаянии заплаканный и несчастный Иосик наконец заснул, чтобы с пробуждением привыкать к горькой доле круглого сироты. А старый дом, равнодушный к горю ребёнка, был наполнен шорохами. Поскрипывали брёвна, посвистывал ветер в оконных рамах, слышалась невнятная возня мышей под половицами.

Утром следующего дня Пиня взял Иосика за руку, привёл в магазин и исчез. В просторном помещении магазина было темновато. Голда, стоя у конторки с кассой, выстрелила в мальчика недобрый взглядом. Иосик попятился в угол, прислонился к бочке с мочёными яблоками, глядел затравленным зверьком, как Копель, приветливо улыбаясь, обслуживает покупательницу. Нарезает колбасу, взвешивает конфеты...

Покупательница прошла к кассе. Голда, растянув в улыбке губы, взяла деньги, крутанула ручку механической кассы, небрежно бросила мальчику:

– Ну что ты стоишь, как истукан? Беги за извозчиком.

Иосик испуганно отскочил от бочки. Куда бежать?

Сердце бешено заколотилось о рёбра. Под жёстким взглядом хозяйки выскочил на улицу. Завертел головой. Побежал. На углу улицы экипаж. Серая лошадь с подстриженным хвостом спокойно объедала кору дерева. Извозчик в долгополом синем халате, высоко подвязанный

кушаком, подрёмывая, клевал носом. Иосик подбежал и остановился. Он не знал ни одного слова по-русски. В смятении он затеребил полу халата. Мужчина открыл глаза:

– Чего тебе, жидёнок?

Иосик замахал руками, пытаясь объяснить, куда нужно ехать. Мужчина повернул голову. Возле дверей магазина стояла красиво одетая женщина и Копель, державший в руках два больших свёртка, перевязанных бечёвкой. Извозчик встрепенулся, разобрал поводья и расторопно подал экипаж. Тронувшись с места, он бросил монетку к ногам мальчика.

Копель положил свёртки на сидение рядом с женщиной и раскланялся на прощание. Иосик подошёл к Копелю:

– Вот, – сказал он бесхитростно, раскрывая ладонь и показывая грош. Копель странно взглянул на мальчика, но монетку забрал и ушёл в лавку. Неподалёку сидел чистильщик сапог, по возрасту не старше Иосика. Он крикнул мальчику со смехом:

– Зачем отдал? Это твой грош. Ты же его заработал. Вот дурень так дурень. Первый раз такого вижу. Следующий раз не отдавай. Леденцов в кондитерской купим.

Носик, конечно, не понял слов чистильщика, но уловил насмешливость интонаций. Он провёл рукой под носом, что вызвало новые насмешки:

– Ну и нос. На двоих рос, а одному достался.

Носик доброжелательно смотрел на хохочущего чистильщика, на присоседившегося к этому смеху прохожего, на стоящего неподалеку презрительно усмехающегося дворника, скрестившего на груди мощные руки. Мальчик ещё не ожидал от всех окружающих зла. Он этому ещё только учился. А сейчас его детская доверчивость сочеталась с поразительной способностью терпеть. Тут из лавки раздался вязкий крик хозяйки:

– Где этот дармоед?

Носик стремглав влетел в лавку и через минуту уже шёл следом за другой покупательницей, нагруженный свёртками. Так началась его новая жизнь. Жизнь сироты. Его поднимали с рассветом. Он стирал пыль с кассы, прилавка, полок, протирал стёкла витрин, мыл полы, мел тротуар перед магазином. Бегал за извозчиком, носил покупки. Он был не очень расторопен, но чрезвычайно старателен, быстро всему учился. Через два месяца он уже сносно говорил по-русски, хотя и с сильным местечковым акцентом, что вызывало в лучшем случае смех окружающих, в худшем ему давали подзатыльник.

Спал Носик в маленьком чулане на деревянном сундуке. Он не бывал теперь голоден, так как обедали все вместе, за общим столом. Во главе стола сидел сам хозяин, Копель Зорах. Рядом с ним его жена Голда. Дальше, подав еду, усаживалась толстая кухарка Фейга в постоянно засаленном фартуке. С другой стороны стола сидели брат Пиня и его жена Тайбель. И на самом конце, в стороне от всех, садился Иосик.

Ему постоянно напоминали, что он чужой в этом доме. Глядя, как мальчик ест, Голда обязательно кривилась:

– Ну и аппетит у этого... Не ест – глотает. Не напасёшься. Чума его возьми!

– Он же ребёнок, он растёт. И потом, он не даром ест хлеб, он трудится, – пробовал вступить за брата Пиня.

– Трудится... Скажите-ка...

– Зачем вы его всё время проклинаете?

– Вейз мир¹¹, – проклинаяю?! Ну да, проклинаяю. Но разве я прошу Бога меня слушать?

Твёрдой рукой вёл Копель бизнес. Твёрдой рукой вела Голда дом. Теперь Иосик понимал, что Пине тоже живётся в этом доме несладко, и ежедневно за столом Копель не отказывал себе в удовольствии напомнить зятю, что человек он без капитала. Лишь однажды Пиня не выдержал и взбунтовался.

¹¹ Вейз мир — Ой, Боже мой (идиш.).

– Я был илуем¹², – закричал он, вскакивая с места и размахивая руками, – и именно такого зятя вы хотели. Теперь я тружусь от зари до зари, а вы ещё осмеливаетесь попрекать меня. Из Иосифа вы сделали мальчика на побегушках, а он должен учиться.

– Мальчик на побегушках в галантерейной лавке пять рублей в месяц получает, – неожиданно сказал Иосик. Это было его большой ошибкой. Голда буквально проггла его взглядом.

Копель немного опешил от непривычного взрыва Пини. Он пожевал губами и спросил довольно спокойно:

– Зачем ему учиться? Да и кто будет платить за его учёбу? Я не собираюсь. Ты, словно враг, ждёшь нашего разорения. Достаточно и того, что он живёт в таком доме. Сыт, одет.

Если со словом «сыт» никто спорить не собирался, то слово «одет» было явно сказано сгоряча. Та одежда, в которой Пиня привёз Иосика, давно расплзлась на части, превратилась в лохмотья. И мальчик теперь ходил в старой кофте Тайбель, подпоясав её верёвкой, а на ногах у него были её же старые туфли, каблуки у которых Копель собственноручно отпилил. Из прежней одежды у Иосика остался лишь потрёпанный картуз, который он плотно натягивал на остриженную и без пейсов голову.

– Нечего сказать, сокровище. Светило науки, – не преминула вставить Голда свои «пять копеек», скривившись так, словно укусила лимон. – А ты что вечно молчишь, корова ты такая? – напустилась она на дочь. Тайбель вскинула на мать томные глаза, продолжая вяло жевать.

Громко заплакала маленькая Кейла. Иосик вскочил и, вытягивая вперёд шею, стараясь таким манером протолкнуть в желудок застрявший в пищеводе сухой кусок, побежал в соседнюю комнату качать кроватку. Пиня сразу остыл, как обычно, пригнул голову, словно у него на шее был тяжкий груз, словно он взвалил себе на плечи весь мир, освободив от этой ноши мифологических Атлантов, и молча сел на своё место.

Между тем Иосик укачивал девочку. Кейла тянула к нему свои маленькие ручонки и смеялась. Вошла Голда. Привычно недовольно взглянула на мальчика, не зная, к чему придраться. Кипевшая в ней неприязнь искала выхода.

– Ну, чего разгулял ребенка, болван? Отнеси лучше бутылочку на кухню. Не видишь, что ли?

Иосик взял бутылочку с остатками манной каши. Войдя в кухню, он оглянулся и, удостоверившись, что его никто не видит, стащил с бутылки резиновую соску и выпил остатки каши. От вкусовых ощущений он даже зажмурился. Манная каша казалась ему необыкновенно вкусной. «Когда вырасту, буду есть одну манную кашу, буду есть её каждый день», – мечтательно подумал мальчик. Он всунул палец в горлышко бутылки и попытался соскрести кашу с её внутренних стенок. За этим занятием его и застала Голда. Эта женщина, словно ищейка, не выпускала мальчика из своего поля внимания. Иосик тут же получил весомый подзатыльник:

– Маленькая дрянь, скверный мальчишка, ненасытный обжора, да чтоб тебя разнесло на части! Вег! Вег!¹³

Иосиф поднял плечи и втянул между ними голову.

Несмотря на противодействие тестя, Пиня купил для Иосика русский букварь. Мальчик носил его всегда с собой, заткнув за пояс под одеждой.

...Просыпался Харьков рано. Дребезжа по булыжной мостовой, катились подводы. Везли провизию. Кухтали в клетках куры, гоготали гуси. Ссыпалось с подвод сено. Воробьи драчливыми шумными стаями слетались на оставленные лошадьми кучи навоза. Дворники в чёрных фартуках подбирали навоз большими совками, сваливали в углях дворов, в помойках.

¹² *Илуй* — исключительно одарённый ученик, достигший больших успехов в учении.

¹³ *Вег! Вег!* – Прочь! Прочь!

Спешили по улицам фабричные рабочие и мастеровые в тёмных поддёвках, чёрных картузах, сапогах в гармошку. Прислуга в узких жакетках из плюша с кошёлками в руках отправлялась на рынок за провизией. Выглядывали из дверей лавочники, приказчики в длинных, до колен, рубахах-косоворотках, в суконных жилетках.

Позже выходила прогуливаться чистая публика – барышни с гувернантками, бонны с детьми. Дородные кормилицы из богатых семей, раздетые в яркие народные одежды, толкали впереди себя плетёные коляски с младенцами. Степенно проходили чиновники государственных служб в тёмно-синих сюртуках, отделанных серебряными пуговицами, в фуражках с кокардами. Пробегали гимназисты с твёрдыми ранцами за плечами.

Порой, оказавшись среди этой толпы, Иосик ещё сильнее чувствовал свою бедность и отчуждённость. Он убыстрял шаг, пальцами ног безуспешно пытался удержать спадающие, звонко хлопающие туфли. Прохожие провожали его насмешливым взглядом.

– Ну и чучело огородное, – слышал он вслед.

Постепенно Иосик приноровился выполнять работу быстрее. А уходя с поручениями, даже умудрялся посидеть четверть часа, разбирая слова из букваря. Он нашёл для этих занятий укромное, как ему казалось, место, нашёл случайно. Как-то проходя по мосту через Лопань в сторону Университетской горки, Иосик перегнулся через ажурные перила и посмотрел на воду. Вода струилась, завораживая, притягивая взгляд. И тут Иосик увидел место, которое ему вначале очень понравилось. Оно находилось у основания каменного моста. Мальчику показалось, что если он сядет, притулившись к белой каменной громаде, то станет совершенно незаметным для глаз прохожих.

Иосик спустился по тропинке, не придав значения тому факту, что она была хорошо протоптана. Это потом он понял, что по ней постоянно кто-нибудь спускался к воде – то руки помыть, то камешки покидать, то воды набрать, – нарушая тем самым его и так недолгое одиночество.

Тогда Иосиф стал отходить от моста в сторону. Берег для спуска в этом месте был неудобен, здесь разрослись кусты ивы, густая трава. Ветви приглушали звуки большого города, и Иосик испытывал удовольствие, даже какую-то негу от временного покоя, от того, что его никто не дёрнет за ухо, не обзовёт дрянью, от того, что он временно предоставлен самому себе. У ног плескалась беспокойная, всегда куда-то стремящаяся река, над головой небо. Он забыт, он свободен.

Иосик вытаскивал букварь, спрятанный под кофту, бережно разглаживал локтем обложку и погружался в мир букв, слогов, слов. Чтение казалось ему занятием совершенно фантастическим.

В один из дней, когда Иосик, затаившись, читал книгу, послышался шум раздвигаемых ветвей, и сквозь них протиснулись двое мальчиков. Один был светловолосый, высокого роста, худощавый, быстрый, ловкий. Второй – невысокий, угловатый. Уши его казались великоватыми для стриженной головы. На круглом конопатом лице выделялись задумчивые глаза. Мальчики подошли ближе. Иосик насторожился. Характер его был мирным, и драчливость была ему чужда.

Неожиданно высокий толкнул Иосика кулаком в бок, толкнул несильно, так, из озорства юности, но Иосик не удержался и кувыркнулся с обрубка дерева, на котором сидел, назад в траву. Ноги его, зацепившись, некоторое время торчали вверх. Одна из туфель, соскочив с ноги, отлетела в воду и скрылась. Мальчики зашлись в хохоте. Но Иосик быстро вскочил, аккуратно положил книгу на бревно и, наклонив голову, бросился на обидчика. Он ударил высокого головой в живот и сбил того с ног. Оба мальчика покатались по траве, дубася друг друга.

Стриженный в потасовке участия не принял. Он спокойно сел на бревно и открыл букварь. Иосик заволновался:

– Не трогай! – крикнул он и пропустил удар в нос.

Кровь хлынула на грудь. Высокий тут же остановился.

– Я не хотел, – виновато сказал он. – Извини.

Иосик молча спустился к реке, вымыл лицо, вытер руки о край кофты. Затем подошёл к бревну, решительно забрал книгу из рук стриженного.

– Читать учишься? – доброжелательно спросил мальчик. – Хочешь, помогу? Одному-то трудно.

– Я осенью в школу пойду, – угрюмо сказал Иосик.

– Меня Гришей зовут, – сказал мальчик, – а его Андреем.

Иосик молчал, глядя настороженно, ожидая подвоха.

– Помиримся, – сказал Андрей, протягивая ладонь. – Это я так, для разведки.

Иосик продолжал молчать, прижимая к груди книгу и не пожимая протянутую руку.

– У тебя есть товарищи? – спросил Гриша, вставая с бревна. Иосик метнул глазами по лицам обоих стоящих перед ним мальчиков и неопределённо дёрнул головой. Он был весь как сжатая пружина.

– Ну, вот и будем товарищами. Мы не драчливые, ты не думай.

– Одет ты как-то смешно, – протянул Андрей, разглядывая Иосика. И видя, что тот вновь напрягся, ожидая насмешек, быстро себя перебил: – Кто твои родители?

– У меня их нет.

– С кем же ты живёшь?

– С братом, его женой и её родителями.

– Бедные, наверное? – предположил Гриша.

– Да нет. У них магазин бакалейный.

– Придёшь сюда завтра?

– Не знаю, меня ведь послали покупки отнести. А я вот здесь засиделся, да ещё башмак утопил. Будет мне сейчас дома.

Мальчики вместе взобрались на крутой берег, пошли вдоль улицы.

– Вывески можешь читать? – спросил Гриша.

– Могу, – радостно сообщил Иосик.

– Ну, прочти, – ткнул пальцем Андрей в длинную вывеску. Иосик сощурил глаза, пошевелил от напряжения губами и прочёл по слогам: «Сапозники».

Глава четвёртая

1914 г.

Вымощенные камнем тротуары на Сумской были забиты гуляющими. Толпа двигалась мимо модного магазина купца Аладьева, мимо железной решётки университетского сада, плавно обтекала угловое четырёхэтажное здание Русско-Азиатского банка с его высокими полукруглыми окнами, отделанными коричневым камнем.

Хорошо на улицах. У всех гуляющих приподнятое настроение, оживление на лицах. Все нарядные. Женщины в светлых платьях, с букетами цветов в руках. Офицеры в новеньких мундирах. Возле тумб с объявлениями образовывались водовороты. Толкаясь, читали горожане царский манифест.

Высочайший манифест о вступлении России в войну. 20 июля 1914

Божиею милостию Мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЕ, Император и Самодержец Всероссийский, царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая,
Объявляем всем верным Нашим подданным.

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взидала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования.

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооружённое нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.

Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоинством наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров.

Среди дружественных сношений союзная Австрии Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целостность России и положение её среди Великих Держав. Мы неколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши подданные.

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится ещё теснее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшись как один человек, дерзкий натиск врага.

С глубокою верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий Промысел Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие благословение.

Дан в Санкт-Петербурге, в двадцатый день июля, в лето от рожества Христова тысяча девятьсот четырнадцатое. Царствования же Нашего в двадцатое.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано.
«НИКОЛАЙ»

...Прочитав манифест, отходили, улыбаясь. Только вот недавно вся мыслящая Россия считала себя либеральной, все были недовольны правительством, все хотели перемен, все жаждали революции. Не вполне, мне думается, сознавая глубинный смысл этого понятия.

А ныне все – патриоты. Общественные симпатии вновь на стороне власти. «Единение Царя с народом». «Любовь к Родине и преданность Престолу». «За Веру, Царя и Отечество». Эта новая яркая любовь к своему народу, патриотическая эйфория родилась от возмущения Германией, от ненависти к ней.

Так что настроение у всех героическое, неустрашимое. Никто не знает, что будет впереди, но все радуются как дети.

На полях Польши, Галиции, Восточной Пруссии погибнет кадровая армия России. Потерянные жизни, искалеченные судьбы, вдовы, сироты, калеки – это потом. А сейчас снуют в толпе мальчишки-разносчики, выкрикивают громкими голосами названия крупнейших газет – «Харьковские губернские ведомости», «Южный край», – бросают в толпу дерзкие заголовки статей: «Почему Россия не может не победить Германию», «Славяне, объединяйтесь – исторический час пробил».

В те дни никто не предвидел размеров грядущей войны, тем более её продолжительности. Война представлялась кратковременной и победоносной. Никто не предчувствовал, что война изменит соотношение сил в мире, окажется роковой для трёх империй Европы, перевернет жизнь русской деревни – привычную, оцепенелую, обветшалую, – взломает её архаичность и столкнёт Россию во мрак Гражданской войны.

Никто не хотел прежнего уклада жизни, но никто и не представлял себе, каким может быть новый мир. Война взорвала общество, и оно разлетелось, распалось на осколки, чтобы затем собраться в новом виде, в ином узоре, словно стёклышки калейдоскопа.

Глава пятая

Всеобщая мобилизация коснулась и Копелева дома. Пиня получил повестку. В пятницу в доме у Копеля собралось небольшое общество. Пришёл брат Пини Яша с женой Ентой и Лев Киршнер – учитель математики, полный солидный господин с круглым мягким лицом и шапкой чёрных курчавых волос. Как человек образованный он, естественно, причислял себя к либералам.

Толстая Фейга, одетая в чистое платье, медленно, с ленцой проносила в столовую блюда. Иосик стоял у дверей, прислонившись щекой к косяку. Его лицо светилось сосредоточенным вниманием. Он боялся пропустить хоть слово из разговоров за столом. Неравнодушие, увлечённость мальчика льстили присутствующим. Его не гнали.

Лев Киршнер выглядел чрезвычайно возбуждённым и нетерпеливым. Он принёс с собой газету с выступлением депутата Нафтали Фридмана на экстренном заседании Государственной Думы. Газета, свёрнутая в трубочку, лежала у него под рукой, оставленная «на десерт». К концу трапезы Киршнер решил, что время настало. Он расстегнул нижние пуговицы жилета. Так как-то свободней. Сделал глоток из бокала с красным вином. Голос должен звучать торжественно и ровно. Встряхнув, развернул газетный лист с огромными пугающими заголовками. Начал читать:

– «...мы, русские евреи, как один человек станем под русскими знамёнами и положим все свои силы на отражение врага. Еврейский народ исполнит свой долг до конца»¹⁴.

Опустив голову, Пиня рассеянно водил пальцем по скатерти. Ему было неловко. Слишком бравурный тон статьи, красивые, бесплодные фразы угнетали. Вполне ясно, что значит выполнить долг до конца. Что ж, надо значит надо. Пиня готов к исполнению воинской повинности. Правда, героических чувств не возникало. Более того, наваливалось уныние. Тягостное. Мучительное.

Разгорячённый вином и статьёй, гость разглагольствовал, помахивая сигарой, зажатой между толстыми пальцами, говорил отрывисто, настолько воодушевлённый, настолько полный отважных мыслей, что, не успевая окончить фразу, обрывал её и спешил выложить слушателям свою следующую идею.

– В жизненных интересах России оказывать Франции активную помощь... Мы, подданные Российской империи, должны пожертвовать семейным уютом...

От сигары вверх плыл лёгкий дымок. Низко опущенный над столом оранжевый абажур оставлял углы комнаты в полутьме. В такт движениям руки говорившего колыхался его пухлый сытый живот, обтянутый блестящим жилетом.

Лицо Копеля было непроницаемо. Лишь время от времени он поправлял, оглаживал благородную бороду. Шевелил бровями. Голда словно аршин проглотила. Спина прямая. Пухлые руки сцеплены на пышной груди. Грубо напудренные брыли разлеглись на воротничке. Яша беспокойно ёрзал на стуле, не вполне понимая, какое выражение следует придать своему подвижному лицу. Тайбель, как всегда, была красива и равнодушна.

Громкий голос Киршнера мешал Пине думать, мешал росту каких-то новых важных, жизненно необходимых мыслей. Пиня поднял голову. Сузив близорукие глаза, несколько секунд неприязненно смотрел на говорившего, и вдруг оборвал его неожиданно зло:

– Особенно вдохновенно и смело можно проповедовать, когда знаешь, что сам мобилизации не подлежишь. Самому-то фронт не грозит.

Киршнер на мгновение запнулся, недовольный тем, что его прервали, затем бросил уверенную фразу, словно этой фразой мог объяснить, почему он не поедет на фронт:

¹⁴ Сайт Александра Шульмана «Евреи на Великой войне. На Русском фронте».

– Длительный конфликт невозможен.

В начале войны эта мысль казалась верной большинству.

– Как знать, как знать, – пробормотал себе под нос осторожный Копель.

– Была сегодня у дантиста, – вмешалась в разговор Тайбель, – так у него в приёмной на стене объявление: «Просим щипать корпию для раненых». А на столе разложен холст. Представляете, как мило? – и добавила, видимо, ожидая восхищения:

– Следующий раз со своим холстом пойду.

В восхищение от слов Тайбель пришёл лишь Кишнер:

– Вот. Вот! – вскричал он. – Всеми владеет необыкновенное воодушевление.

Тайбель взглянула на мужа. Почему он не восхищён, почему так грустно вопросителен, странен его взгляд? Он что-то иное хотел от неё услышать? Но что? Она не понимает.

Толстая кухарка лениво пронесла поднос с пирогом, беззлобно подтолкнув мягким плечом Носика: не мешай, мол. Но мальчик, прислонившись к дверному косяку, продолжал жадно ловить слова.

... Через несколько дней Тайбель пошла проводить Пиню на призывной пункт. Вышли из дома. Пиня невысокий, даже словно немного сгорбленный, молчащий в задумчивости. В руке маленький, почти игрушечный чемоданчик.

Копель и Голда остались стоять на крыльце, и такое недовольство Пиней было написано на их лицах, словно он виновен в том, что уходит, словно он всё это нарочно, в пику им придумал. Бездельник.

Тайбель в красивом платье приятного жемчужно-серого цвета, в новой шляпке с мягко качающимся пером шла вдоль улицы и всё клонила голову влево, стараясь в зеркальных витринах под полосатыми маркизами рассмотреть своё отражение, плавную походку, почти аристократические манеры. И то прядь волос поправит, то кружево разгладит. Роль верной подруги воина была нова и нравилась ей. Может, записаться на курсы сестёр милосердия? А что, белый платок с красным крестом ей явно пойдёт. Оттенит её смуглый цвет лица и большие прекрасные глаза. Да нет, кажется, не получится, не примут на курсы. Иудейское вероисповедание не подойдёт.

Иосик, чуть отстав, шёл сзади, пришлёпывая своими спадающими с ног туфлями. Пиня постоянно на него нервно оглядывался. Тайбель морщилась.

С узкой боковой улицы они свернули на Сумскую и буквально остолбенели.

Просторная улица по всей своей ширине была заставлена, запружена подводами. На подводах сидели бабы с малыми детьми. Между подводами неприкаянно бродили бородатые мужики в лаптях, с серыми котомками за спиной. Шум, гам, пьяные песни, визг гармоней, отборная матерщина и рвущие сердце слёзные бабьи причитания: «На кого же ты нас покидаешь?! Родненький ты наш! Кормилец ты наш!»

Тайбель овладело предчувствие беды. Темноглазое лицо потеряло своё всегдашнее королевское спокойствие, облагораживаясь потрясением и страхом. Как глупа она была ещё несколько минут назад, какие мысли пустые лезли в голову! При чём тут платье, манеры, походка? Разлука?.. Разлука! А-а-а! Ведь их ждёт разлука! Какой смерч их закрутил? Куда он их выбросит?

Толстый городской равнодушно зевал, выворачивая рот. В кинематографе «Ампир» на углу улицы шла картина «Налетели злые коршуны». Это о ком? На нас налетели? Что же, как же...

И Тайбель отчётливо, остро почувствовала, что её жизнь такой, какой она была сейчас, в жарком августе 1914 года, уже больше никогда не вернётся. Никогда. Из глаз женщины потекли слёзы. Буквально задыхаясь, она вцепилась в руку Пини. Куда ты, куда? Вернётся? Вернётся?! Испуганные глаза молили. Она едва сдерживалась, чтоб не заголосить в голос, как все эти женщины, не зарыдать взахлёб, оплакивая свою судьбу, судьбу мужа, судьбу страны.

В поход

Прощай, жена. Не так, бывало,
Твои глаза я целовал,
Когда клонила ты устало
И первый сон нас разлучал.
А здесь... Да ты ль, голубка, полно,
Стоишь у поезда – бледна,
И безнадежна, и безмолвна,
Близка... И так отчуждена...
Мы – те же, любим, как любили.
Так чьей же силой решено,
Чтоб мы друг друга схоронили?
Ну, с Богом... Грозно и темно
Глядит мой путь... За ним забвеньё.
Не будет жизни там былой!..
Борясь со страхом в озлобленье,
Припав к брустверу головой,
Я тупо ждать приказа буду...
Мне ласк твоих не вспомнить там...
Прощай, живи и... верь, как чуду,
Что может быть свиданье нам.
А там, вдали – в чужой траншее —,
Не те же ль слёзы и мечты?
Так для чего ж мы клоним шею
И гибнем тупо, как скоты?
– Готово. Едем!¹⁵

¹⁵ Войтоловский Л. Н. «Всходил кровавый Марс: по следам войны», с. 72. RuLit.

Глава шестая

*Эй, ребята, не сиди,
На штыки время идти!*

Федорченко С. З. «Народ на войне»

Поначалу Фёдор даже обрадовался призыву. Влекло любопытство. А что, и город увидит, и земли иные. Не всё же в деревне торчать, быкам хвосты вязать. Как то не думалось ему, что придётся убивать, а возможно, и самому быть убитым. Повторял, как заведённый, за всеми:

– Пора немца бить. За Веру, Царя и Отечество.

Молодой задор, ухарство так и рвались наружу. Мысли о войне, о фронте дурманили, как вино. В новых яловых сапогах и рубашке навыпуск прохаживался по селу, девок смущал.

Отвозить сына в город собрался Антип. Васса тоже просилась, но Антип отрезал сурово:

– Не на ярмарку едем.

Ульяна стояла на крыльце. Печально, по-бабьи подперев ладонью лицо, концом платка вытирала катившиеся по щекам крупные слёзы. Не голосила, не охала. В глазах были боль и покорность судьбе.

Антип подогнал телегу, положил в неё мешок с вещами. Фёдор поспешно обнял мать, перецеловал сестёр и весь в каком-то приподнято-радостном нетерпении сел на край телеги. Ульяна шла рядом и, держась за телегу, рассматривала сына упорным взглядом. Оглянувшись на жену, Антип неприязненно бросил Фёдору:

– И чего ты, долдон, торопишься-то?

– Боюсь, война кончится, и пороху не нюхну. Не плачьте, маманя, к севу вернусь.

Антип головой покачал, – мол, дурак ты, дурак. Щёлкнул кнутом. Крепкий мерин пошёл рысью. Отчётливо слышались удары копыт о землю. Ульяна отстала. Закоченела столбом посреди дороги, вслед хвосту дорожной пыли.

...В гимнастёрке и шароварах защитного цвета, в фуражке с кожаным лакированным козырьком Фёдор казался себе бывалым воякой. Усов вот не хватало, – лихих, закрученных кверху. И Фёдор всё поглаживал указательным пальцем верхнюю губу, словно усы поправлял.

Перед выстроенными новобранцами выступил высокий бодрый старик с седой бородой, генерал от инфантерии С... Кидал пафосные слова:

– Отечество в опасности. Настал час для каждого из нас доказать свою готовность принести в жертву Родине самое дорогое – жизнь. За Веру, Царя и Отечество!

Бодрым шагом, отбивая пятки о брусчатку мостовой, прошли от казарм к вокзалу. На перроне огромная толпа. Отслужили молебен. Восторженные, экзальтированные женщины засыпали солдатиков цветами, задали шоколадом, благословляли. Крестики на шею вешали, образки с надписью «Спаси и сохрани».

Расторопно грузились в вагоны. С возгласами: «Эй, взяли, разом взяли!» вкатывали в вагоны тяжёлые фуры.

Бросив вперёд свой вещевой мешок, полез и Фёдор в вагон. На полу теплушки, свесив за порог ноги, сидел невысокий худой солдат с мягким крестьянским лицом, рыжеватой бородой и крепкими корявыми руками. Увидев Фёдора, подвинулся, ногой мотнул.

– Залезай, милоч, – сказал глухим неспешным голосом.

Отъехали под громкие крики «Ура» и радостные взмахи белых платочков. Постукивали колёса, вагон дрожал, плавно качался на сторону, подпрыгивал на стыках рельс. В небо взметались клубы дыма. В открытые двери вагона несло паровозную сажу. В теплушке сорок чело-

век. Всё больше «запасники» – широкие кряжистые бородачи. Тяжёлый дух казармы – дым сигарок, запах немытого тела, яловых сапог. Взрывы хохота. Звон балалайки. Визг гармони. Песни, разговоры. И всё только о фронте.

– Всеми силами постараемся, живота своего не пожалеет.

– Пусть знает немчура, что такое русские, нашего Царя-батюшки воины.

– Расшибём!

– Одолеет!

– Держись теперь, супостат!

Мимо летели леса, перемежающиеся с лугами, печальные осенние пустые поля. Города и городишки. На станциях находили самогон. Возвращались в вагон вдрызг пьяные, развинченные.

Чем дальше состав шёл на запад, тем задумчивей становился Фёдор. Всё будило тревожные мысли. Порой ночами он совсем не спал. Слушал тишину, смотрел, словно в первый раз, на заглядывающие в вагон мерцающие звёзды. На станциях слушал рассказы раненых:

– Наша батарея раз стрельнёт и замолчит. А он всё шрапнелью кроет.

– Загнали в яму, стреляй, говорят, тут неприятель. А какой он мне неприятель – он что, у меня жену отбил?

– Николай с Вильгельмом поругались, а мы виноваты стали.

Война оборачивалась своей страшной стороной – жестокостью и несправедливостью. Под стук колёс обрывался прежний период жизни.

Выгрузились на станции. Белые мазанки с соломенными крышами. Высокие прямые тополя. Огромные массивы сосен. Над пологими осенними ржаво-бурыми холмами вился туман. Разгуливал ветер, крутил листья.

Первый переход был утомителен чрезвычайно. Шли и шли по бесконечным дорогам Галиции. Усталые, озябшие, порой голодные, без куска хлеба, шли всё дальше на запад. Лил мелкий противный холодный дождь. Ноги по щиколотку увязали в липкой грязи. Шли безостановочно, делая по сорок вёрст в день. Надрываясь, тащили на себе выкладку. По сторонам дороги валялись трупы замученных лошадей, обломки повозок. А навстречу брели беженцы – растерянные, усталые, грязные, скорбные. Тянули повозки с жалким барахлом.

В шестом часу вечера перешли границу. Мелькнул перед глазами пёстрый пограничный столб с двуглавым русским орлом. Все сняли шапки и перекрестились.

В районе развёртывания, смертельно измученные, рыли тугую холодную землю. Отводили усталую душу ежеминутно поминая мать. Чуть прислонясь к стене окопа, тут же, сидя, впадали в беспокойную дрему.

Начались беспросветно тяжёлые дни нудного окопного сидения. В окопах было мерзко. Тесная мокрая дыра. Ноги мёрзли в сырой соломе. Порой дождь заливал окоп почти по пояс. Воду вычерпывали котелками.

В принципе человек всегда одинок. Внутри него недоступные, да и ненужные другим мысли, чувства, эмоции, страдания, боль. «Своя рубашка ближе к телу», – подводит черту под этой мыслью народная мудрость. И всё же такого мужского братства, такой искренней привязанности, какая бывает на войне, в обычной жизни и не встретишь. Война, опасность, смерть рождали сердечное сочувствие другому. Воевать и быть одному – невозможно.

Фёдор сдружился – не сдружился, а как то прилепился сердцем к Ивану Морозову, тому рыжебородому мужичку, что болтал ногой в день погрузки. Был Иван годами постарше Фёдора. Оставил в деревне жену с тремя ребятами. Была в этом солдате исконно русская устойчивость, неторопливость, уверенность, многострадальность и безропотность. Никогда не затевал ссор, никогда ни над кем не смеялся.

Всю ночь накануне первого боя Фёдор не спал, думал. И мысли были все странные неприятные, мучительные. От них распирало голову, и она горела, как в жару. То ему вспоминались

домашние – строгий лик отца, упорный взгляд матери, горделивая Васса, смешливая Донька. Успокоительно мелькало: «Хорошо, что не женился, семью не завёл. Вот теперь бы и осиротели».

От слова «осиротели», сразу протягивалась другая мысль, страшная. И всё ему мнилось, что обязательно в голову стрельнут. И всё представлялось, как пуля бьёт ему в лицо, медленно-медленно вбивает внутрь нос, крушит ударом кость, и он слышит этот скрежет ломаемой кости, захлёбывается кровью и болью.

Покрываясь потом, Фёдор нервно трогал нос трясущимися от ужаса руками, боясь нащупать вместо него рваную дыру с торчащими в стороны осколками. Мучительно вздрагивал, отгоняя кошмар, сильнее сжимал руками винтовку, прижимался спиной к стенке окопа. На доски над головой назойливо капал дождь. Огромные вши лениво ползали по телу, вызывая нестерпимый зуд.

«Умру и ничего ведь больше не увижу. Куда убежать? Где спрятаться?»

В атаку пошли перед рассветом – сумрачным, слякотным.

– Роты, вперёд!

– Цепи, вперёд, бегом.

«Надо из окопа вылезать. А нету сил. Ноги обмякли. И окоп этот холодный, тысячу раз проклятый, вдруг роднее мамкиной избы показался. Лечь бы на дно. Пусть холод, пусть вода, пусть жидкая грязь. Не хочу дырку в башке. Зачем я здесь? Что мне здесь нужно? Ничего не нужно. Ничего! Крикну, что ничего мне не нужно! Можно я домой побегу? Домо-о-й!»

Офицер орёт. Что орёт, Фёдор не понимает. Видит лишь, как рот офицера разевается, на сторону кривится. У Фёдора лишь одна мысль в голове – домой. И слово крепкое матерное пустить охота, да не может, голоса нет, пропал. Зубы дробь стали выбивать.

«Пусть по зубам тычет. Пусть хоть все зубы повыбьет. Не пойду».

Офицер в воздух выстрелил. А Фёдор всё ниже спускается, голову в подбрустверную нишу вжимает, крестится. Винтовку к себе прижал, а сам вроде как меньше делается, съеживается. И такой дух тяжёлый по окопу потянуло. Это ж кто не сдюжил да штаны обмарал?

Офицер пистолет на Фёдора направил. Кричит: «Убью гадину!» Заверещал тут Фёдор, как недорезанный кабанчик – «А-а-а», – и из окопа полез, соскользнул, вновь полез. Согнувшись, по полю побежал, оглашая его дико-хриплым рёвом, а может, и «Ура!» кричал, не помнит. Ошалевшее сердце скакало. Никак не образовывалось в нём солдатское исступление.

Австрийцы встретили убийственным огнём. Снаряды летели над головой с оглушительным рёвом. Рвались шрапнели. Щёлкали пули. Влажные чёрные комья вздыбленной взрывами земли били по спине. Воронки, потоки свинца, рёв, визг, стоны, хрипы. Ноги скользили по грязи. Исковерканные обломки человеческих тел, смешанные с землёй, страшными брызгами разлетались в стороны. В воздухе бесновались, сплетаясь в тошнотворный клубок, запахи сырой земли, серы, крови, испражнений, животного страха. «Спаси, Господи, люди Твоя».

Фёдор пробежал безбрежное поле, прыгнул наконец в траншею, побежал, стучаясь плечами о мокрые стены. Перед ним австрияк в голубой шинели – бросил оружие, поднимает руки. Фёдор хватил его со всей силой прикладом по лбу и замер, застыл. Вся горячка прошла. Страх испарился. А ненависти вроде и не было. Смотрел, как медленно австриец раскрывает до невозможности белые глаза, как дрожат его грязные руки, пытаюсь дотянуться до лба. Не дотянулся. Раскинул руки, упал на спину, лениво плеснулась грязь из лужи на дне окопа, залила лицо.

Фёдор опустился на колени, его стошнило. Плыл над окопом артиллерийский дым. Таяли шрапнельные облака. Розовые, нежные.

– Федька, – раздался рядом голос Ивана, – жив, паршивец. Глянь, как консерву нашёл. Пойдём попробуем.

Фёдор с трудом отвёл взгляд от страшных фарфоровых закатившихся глаз убитого, взглянул на грязное, измученное, но почти по-детски радостное лицо Ивана – остался жив после такой атаки – на белую консервную австрийскую банку в его руках, и тут его стошнило во второй раз.

– Убиваешься, – понимающе сказал Иван. – Так война же. Или ты его, или он тебя. Лучше ты. Жить-то охота. Можя, завтра и мы упокойниками будем. Не журишь. Смерть, она поблизу ходит. Кажий день без покаяния на тот свет отправиться можем.

После боя наступила неправдоподобно тихая лунная ночь.

Во фронтовых сводках отмечалось, что 26 октября 1914 года геройские русские солдаты Юго-Западного фронта остановили наступление немцев и австро-венгров на Ивангород (Демблин).

После той, первой атаки Фёдор стал не то что храбрее, а как-то словно равнодушнее, терпеливее к опасности, словно она ему до чёртиков надоела, и просто гнал от себя эту прежде невыносимую мысль о смерти, преодолевая своё паническое настроение, преодолевая инстинкт самосохранения. Постепенно он освоился с войной, как с обычным делом. Война превратилась в серые будни.

К концу 1914 года противники на всех фронтах засели друг против друга в траншеях, опутались колючей проволокой, неспособные к движению вперёд.

Глава седьмая

Северо-Западный фронт протянулся на сотни километров. Местность была ровной. Вдали виднелись белые стены и соломенные крыши маленьких деревушек.

Солдаты 108-го пехотного полка шли серой качающейся стеной напрямик по картофельным полям, через мокрые жнивьё, канавы, остатки полуразрушенных окопов. Тысячи ног месили непролазную грязь. Тысячи солдат тяжело дышали. От долгого перехода у людей угрюмый, насупленный вид. Не разговаривали. Если и открывали рты, то лишь для злобного крика, матерщины. Нервы напряжены до последней возможности.

Ветер и мелкий холодный дождь били в лицо. Падали задыхающиеся от усталости лошади. Оставались лежать.

Странное оцепенение овладело Пиней. Всё тело ныло. Ноги от колен до подошв скручивало острой болью. Не хотелось ни думать, ни тревожиться, душой овладела покорность судьбе.

В деревню вошли последними. Все хаты забиты солдатами. Пришлось ночевать за околицей.

Ярко горел костёр. Уютно, по-домашнему, потрескивали, сторая, куски забора. Пахло сохнувшими солдатскими портянками, навозом. Согретое тело сильнее донимала вша, поразительной величины. Бородатые мужики обогрелись, расслабились, вели неспешные разговоры:

– Хорошо жили, видать, чисто.

– Зато теперь в каждой комнате нужник.

– Жаль, опоздали. Много, наверное, тут жители припасли.

– Тебе бы только рыться в чужих сундуках и перинах.

– Чердаки – тоже неплохо.

– Опоздал. До тебя тут хорошо обшарили.

– А господа офицеры не занимаются грабежом?

– Тсс. Хайло закрой. Пуля влетит.

– Да чего «тсс»? Чего только из штаба не отправляют. И серебро, и зеркала, и посуду. А где берут? Небось не на ярмарке покупают.

Рядовой Карлинский сидел у костра и, накинув на голое тело задубевшую от грязи шинель, старательно выжигал в рубцах рубахи вшей.

К костру подошел Семён Червонихин. Огромный детина с широким носом, шишковатым лбом. Чёрные волосы и борода всклокочены. Взгляд нагло-снисходителен, словно у приказчика из бакалейной лавки. Разговаривая с офицерами, Червонихин как-то немного сгибался и, казалось, сейчас повернёт голову, придвинет ухо, вроде как лучше слышать, и спросит: «Чего изволите-с?»

– Слухай, Семён, ты бы подальше-то шёл ср... – сказал ему Евсей, спокойный пожилой сибиряк.

– Чаво это? Аль к вони не привык, харя неумытая? Сам-то тоже небось не девкой пахнешь, – Семён с ожесточением поскрёб ладонью в засаленной бороде.

– Всё ж могила там, срамник, – осуждающе сказал Евсей, кивая на большой крест, на холм рыхлой земли, – только закопали, а ты чуть ли не на головы им.

– Да пошёл ты, – зло сказал Семён и повернулся к Пине. Его лицо осветилось гаденькой ухмылкой:

– Что, вша заела, жид?

– Еврей, – машинально поправил Пиня.

– Ты ещё учить меня будешь, шпион австрийский, – внезапно взорвался Семён нескрываемой ненавистью.

– Да чего несёшь-то, чего гавкаешь здря, – недовольно поморщился Евсей, откусывая конец нитки и оттягивая полу гимнастёрки подальше от глаз, чтобы лучше увидеть результаты своей работы, – он с самого Харькова с нами мается, солдатскую ляжку тянет, вшей кормит.

– Все жида изменники и шпионы, – злобно настаивал Червонихин, неприятно оскалив зубы. Пиня, закончив выжигать рубаху, вытряхнул в сторону обгорелых паразитов.

– Ты что это, жид, своих вшей в картошку трясеешь?! – нашёл наконец Семён к чему придраться и, закипая злобой, пнул Пиню сапогом в бок. От удара Пиня повалился в сторону, но тут же вскочил. Он был на голову ниже Червонихина. Стоял раздетый, не успев натянуть гимнастёрку. Под шинелью мелко дрожали худые ключицы. В исходе поединка можно было не сомневаться, но и отступить невозможно. Задолбают до смерти. Лица у всех были безучастно-равнодушны. Ненависть к евреям была традиционной. Семён с предвкушением потёр свои большие руки, бранясь при этом противно и мерзко.

Внезапно прозвучало:

– Отставить. Рядовой Червонихин, что здесь происходит?

Из окружающей костёр густой темноты появился поручик Григорьев. Обходил караулы.

Красивое лицо поручика жёстко. Голос с ледком. Под низко нависшими бровями глаз тёмный, диковатый. На переносице напряжённая складка.

Семён распустил лицо, гаркнул:

– Не могу знать, вашскородь! Вскочил чего-то. Видать, блоха за жопу грызнула, – и, помня о правиле «ешь начальство глазами», старательно выпучил глаза.

– Ох и живучая же тварь блоха эта, – невпопад пробормотал кто-то.

– Эх, взглянули бы в деревне, какое у нас скотоводство в рубахах да в штанах.

Поручик задержал хмурый взгляд на Семёне, перевёл его на Пиню, на детский его подбородок, мягко припухшие губы, открытый взгляд, сказал неожиданно:

– Рядовой Карлинский, поступаете ко мне в денщики. Отправляйтесь за мной.

– Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Дозвольте одеться? – в голосе Пини слышалась растерянность. Усмешка шевельнула тонкие губы Григорьева. Кивнул. Пиня лихорадочно натягивал на худые плечи гимнастёрку.

– Умеют же жида устроиться, – сказал кто-то, когда шаги затихли вдали.

– Да завтра же назад вернут. Это их благородие сгоряча. В денщики ихнего брата не берут.

Но вопреки предсказаниям Пиня остался у Григорьева. Замкнутый, остро самолюбивый, он был благодарен поручику и в тоже время с опасением ожидал увидеть досаду на лице офицера, сожаление о быстроте необдуманного поступка. И до самой своей гибели зимой 1915 года в Августовских лесах Пиня был рядом с Григорьевым.

Глава восьмая

Зимой 1915 года 108-й пехотный полк расположился в местечке Вальтеркемен. Местечко было богатым. Пивоваренный завод, завод сгущённого молока, многочисленные мастерские. Жителей в селе не было. Они оставили его ещё в августе 1914 года.

Пятеро офицеров заняли ветхий, но сухой сарай. Денщики расставили походные кровати. Притащили откуда-то железную печку. Загопили. Сгорая, дрова уютно потрескивали, брызгая искрами. Наплывающее тепло заставляло намёрзшихся до костей людей передёргиваться от озноба. Но это было даже приятно.

На деревянном неструганом столе, покрытом вместо скатерти мешковиной, стояли свечи, бутылки с красным вином. И уже хмель сладким ядом дурманил головы. Нещадно курили, давя окурки в пепельнице из шрапнельного стакана.

Походные кухни раздали ужин. Осторожно ступая по прогнившим доскам сарая – ещё провалишься ненароком, – Пиня пронёс и поставил на стол миски с гречневой кашей. Затрепетали язычки пламени свечей. Тени побежали по стенам.

Штабс-капитан Волгин, невысокий, плотный, с грубым лицом и глубоко посаженными глазами, спрятанными под широкими торчащими бровями, проследил взглядом за новым денщиком Григорьева, сказал насмешливо:

– Как он, Хаим твой?

– Очень порядочный, добросовестный человек. Старательный.

– Ну-ну – протянул Волгин, почувствовав в словах Григорьева, что стиль беседы надо было выбрать другой. Помолчав, добавил, как бы оправдываясь: – Я к чему... Опять приказ о евреях.

Прапорщик Данилин, сухощавый, со светлыми приветливыми глазами и добродушной улыбкой, провёл по струнам гитары, заметил равнодушно:

– Ну, значит, дело совсем плохо. Надо же на кого-то свалить вину за бездарность генералов.

– Вы представляете, господа, еврейчики понимают немецкий. Гнусный народец! – развязным тоном произнёс прапорщик Фетисов. В полку он был недавно. Красивый безусый мальчик, этакий херувим с бледно-голубыми глазами, явный любимчик мамочки, до краёв переполненный победной газетной пропагандой и величайшей самоуверенностью. Порой от его высказываний у офицеров морщились лица, как от дурного запаха.

– Вы что, не понимаете, прапорщик, что такие приказы провоцируют погромы? – в голосе Григорьева прозвучала неприязнь кадрового офицера к неумному новичку. Ему с трудом удалось преодолеть в себе скуку разговора с этим человеком.

– Пусть солдатики потешатся, – брякнул Фетисов. Его задевал безулыбчивый поручик. Задевал всем своим видом – лицом, словно отлитым из стали, гордой осанкой, – даже в грязном окопе не теряющим достоинства, и этим снисходительным тоном, царявшим самолюбие.

– Да, господа, уставать стал «Митюха» (рядовой), уставать, – не к месту и с явным пренебрежением к нижним чинам протянул поручик Зубович, попыхивая дымом.

– Да солдат не знал и не знает, за что жизни людские кладутся. Вы поговорите с ними. Они вам такое наговорят... Да они отчёт себе не отдадут, зачем их позвали на войну. Цели войны им неясны. Крестьянин шёл на войну, потому что привык выполнять требования власти и терпеливо нести свой крест. Кладём без сожаления тысячи солдат – и всё «серая скотинка», «русский навоз». Ну, понятно, когда чужих не жаль, но своих, своих?! Ведь порой ни за что пропадают. Воин должен не умирать за Родину, а защищать её. Умершие – не защитники.

– А сколько потеряно кадровых офицеров – опора монархии, цвет русской армии... Это только поначалу казалось, что война укрепит монархию. Вот увидите ещё, как эта война расшатает государство до последнего предела, – сумрачно проговорил Волгин.

– Мы все тут бесцельно погибнем, – жёстко сказал Данилин. – Закопались в землю и мы, и немцы, и тонем в болотной грязи.

– Под секретом, господа, – поручик Зубович шевельнул жёсткими щётками подстриженных усов. – У тыловых частей отбирают годные винтовки, заменяя их трофейным оружием. Из ставки пришёл приказ беречь патроны. Работать штыком.

– Беречь... Легко сказать. Что это за бои с экономией патронов? Дать в руки русскому солдату дубинку вместо винтовки. И до последней капли крови. А немец пусть с аэропланов бомбами по головам бьёт. С такой подготовкой нечего было втягиваться в войну, – резко произнес Григорьев.

Фетисов доверительным тоном, каким обычно открывают секрет, вновь выдал газетный штамп, уже набивший оскомину:

– Немец не может против нас в штыковом бою.

– Для штыкового боя надо ещё к противнику приблизиться. Или вы издали собираетесь штыками махать, не покидая траншеи? – зло оборвал его Григорьев. – Пулемёты сорвут любое наступление. Перевес всех видов огня на его стороне. Победить нельзя. Нет средств и нет сил. В лучшем случае сменим одну мокрую траншею на другую. Легенда о нашей врождённой непобедимости – не более как миф. Сто семьдесят миллионов населения. Именно это создаёт мираж нашей необыкновенной военной мощи. А результат – непосильные требования союзников. Ну, французам на нас наплевать – пусть хоть вся Россия костью ляжет, лишь бы Париж спасти. Но нашим-то генералам почему русского солдата не жаль?! Несчастливая Россия... Что будет с ней?

– Мы – боевые офицеры... Такими разговорами вы предаёте Россию... – без ремня, в одной гимнастёрке, опьяневший Фетисов подпрыгивал на табурете, пытаясь встать, но встать не получалось, и он лишь нелепо взмахивал руками, пыхтел словесной шелухой. По гладкому молодому лицу катились пот и пьяные слёзы. Он был противен всем своей неуместной на передовой восторженностью.

– Уж не намерены ли Вы вызвать меня на дуэль? – ледяным тоном поинтересовался Григорьев.

– Ах, господа, оставьте вы эти глупости, – отмахнулся Данилин. Он был согласен со всеми словами Григорьева. Увлечения войной не было. Было сознание служебного долга перед родиной.

Он тихо запел. Голос у него был несильный, но здесь, в полуразрушенном сарае, в дрожащем полумраке, в нескольких шагах от смерти простая мелодия и слова переворачивали душу.

Не для меня придёт весна,
Не для меня песнь разольётся,
И сердце радостно забьётся
В восторге чувств не для меня.
Не для меня в стране родной
Семья вокруг Пасхи соберётся,
«Христос воскрес» – из уст польётся,
День Пасхи, нет, не для меня.
Не для меня дни бытия
Текут алмазными струями,
И дева с чёрными очами

Живёт, увы, не для меня!¹⁶

От пения Данилина в душе вспыхнула радость, но вспыхнула лишь на мгновение, осчастливив на долю секунды. Следом нахлынуло горькое щемящее чувство утраты, потери, невозврата. «Не для меня!»

¹⁶ Песню относят к казачьему романсу. Появился романс в печати на грани XIX–XX веков. Подписан Александром Гадалиным. Существует несколько вариантов.

Глава девятая

В генералах помпезной Российской империи всё ж не дерзали германцы предположить такое закоснение, такое полное отсутствие смысла в водительстве сотысячных масс!

*Солженицын А. И. Красное колесо. Узел I.
Август Четырнадцатого. Стр. 137*

В ночь на 29 января 1915 года 20-й корпус 10-й армии под командованием генерала от артиллерии Павла Ильича Булгакова, в составе которого находился 108-й пехотный Саратовский полк, стоял непосредственно против Мазурских озёр и готовился совершить отход в восточном направлении на реку Неман, так как противник, заняв Владиславов, навис над правым флангом русских, создавая угрозу выхода им в тыл.

Пошёл снег, началась сильная буря со встречным ветром. В течение часа насыпало огромные сугробы. Дороги занесло снегом. Направление пути отхода было возможно определить только благодаря двум рядам вётел, которыми обсаживались просёлочные дороги в Восточной Пруссии. Орудия и повозки тонули в снегу. Шли всю ночь, увязая по колено. Расстояние в пятнадцать километров полк прошёл за семь часов.

11 февраля полк добрался до намеченной ему позиции и стал откапывать окопы. В этот день после тяжелого марша по занесённой снегом целине полк не получил хлеба. Грызли сухари.

Перед рассветом 13 февраля колонна 108-го полка перешла русскую границу. В шесть часов вечера стали на привал близ опушки небольшого леса. Пришлось расположиться на снегу. Пошёл мелкий дождь. К девяти часам вечера дождь перестал. Стало морозить.

14 февраля день был солнечным. Началась оттепель. Глина стала вязкой. Чтобы преодолеть подъёмы, приходилось их выкладывать хворостом. Пулемёты тащили на руках. Ноги хлюпали в талом снегу. Всё вокруг казалось нереальным, будто действительность – это странный тяжёлый сон, длящийся долгие дни.

Тогда ещё не было известно, что германские войска опередили 20-й корпус и находились уже в тылу его. Пути отхода на восток были отрезаны. Кольцо вокруг корпуса смыкалось. Противник охватывал с запада, севера и востока. Три германских корпуса готовились раздавить один русский – 20-й.

Получив приказ командования уклониться от боя, с рассветом 108-й полк свернул с шоссе в Августовские леса, на узкую, неудобную дорогу. Шли по четыре в ряд. «Шире шаг», – катилось по колонне. По сторонам дороги высокой стеной поднимались вековые двадцатиметровые сосны королевских лесов старой Польши.

При выходе из леса русские были встречены сильным огнём немцев. Продвигаться по открытому снежному пространству, не имея укрытий, было почти невозможно. Но всё же полк ворвался в деревню Серский Ляс. Немцы отступили. Русские бросились вдогонку. Трупы убитых усеяли равнину. Несмотря на эту победу, положение полка оставалось опасным. Надо было спешно, оторвавшись от противника, отходить на юг и юго-восток. Но русские войска целый день бесцельно оставались на месте. Победа была потеряна.

20 февраля утром полк начал наступать на деревню Марковцы. Немцы занимали и держали окопы к юго-западу от деревни.

Эти окопы были вырыты русскими строителями крепости Гродно в качестве передовой позиции. Впереди прочных окопов с козырьками были устроены проволочные заграждения. Стрелковые цепи русских продвигались вперёд очень медленно. Артиллерия не смогла пробить проход в проволочном заборе. На виду у противника солдаты беспомощно топтались

перед заграждением, почти висели на нём, стараясь разрезать проволоку простыми ножницами. Проползали на брюхе.

Через три часа наступление 108-го полка остановилось. Пролежали на снегу под огнём противника до вечера, затем отошли к лесу и стали окапываться.

Настроение было подавленным. Полк находился в движении десять дней. Шёл преимущественно ночью. Провёл несколько боев и при этом получал ничтожное довольствие. Порой не было хлеба. Хлебали пустой суп. Людьями овладела сильнейшая усталость, сознание безнадежности и, как следствие, апатия.

«Командир 108-го полка был так утомлён, что, слушая начальника дивизии, упал головой на стол в бессилии одолеть сон и усталость»¹⁷.

В течении пяти дней истомлённые части 20-го корпуса вели неравные бои с германцами, пытаясь прорвать кольцо окружения. Расстреляв весь запас патронов и снарядов, русские пытались штыками проложить себе дорогу. Попытка безумной атаки не удалась. Не прошли и двухсот шагов, как были встречены в упор страшным близким ружейным и пулемётным огнем. Падали десятками.

«Всё это избиение, которого не знает военная история, разыгралось на площади в две тысячи метров, так что даже простым глазом можно было видеть, как целые кучи людей оставались лежать и как батальон за батальоном был уничтожаем под треск пулемётов»¹⁸.

Около десяти часов утра 21 февраля огонь с обеих сторон прекратился. Наступила жуткая тишина. Последние силы корпуса растаяли. Лишь небольшие группы русских воинов затерялись в лесах. Немцы прочёсывали леса, забирая русских в плен.

...Тусклое февральское солнце освещало верхушки сосен. Десяток солдат 108-го пехотного Саратовского полка, шатаясь от физической и душевной усталости, стоял на краю поляны. Потерянные, хмурые, беззащитные. Чувство страха, отчаяния овладело ими. Издёрганные нервы были на пределе. От налетевшей тишины начинала болеть голова. Скверно. Нехорошо. Боже ты мой, какая тишина!

– Чёрт побери, – воскликнул Фетисов, – во всяком случае, для нас война кончилась, – он пытался говорить уверенно, но губы нервно подёргивались, и глаза смотрели как-то всё вкривь, вкривь. – Бросайте винтовки. Сделайте белый флаг.

– Из чего, Ваше высокоблагородие? – глупо и пристыжённо спросил вестовой, размазывая по лицу пот и кровь.

Плен? Нет, это было не для Григорьева. Для него нестерпим был этот позор, это бесчестье. Небритый, чёрный, с глубоко запавшими глазами, Григорьев осведомился презрительно:

– Намерены сдать своих солдат в плен? Потом мемуарчики будете писать. «Почему я поднял белый платочек», – и выдохнул режущее: – Трус! – а хотелось выругаться грубо, по-русски.

– Поручик! – завизжал Фетисов. – Я бы попросил Вас, поручик, не забываться!

Ущемлённое самолюбие на секунду выиграло, но завизжал Фетисов как-то придушенно – всё же немцы вокруг, да и решимости в визге не было. Колыхались обида и готовность к плену. Ему нечего было противопоставить угрюмой и злой силе Григорьева.

Пиня стоял чуть поодаль, прислонившись к дереву. Усталость ломала тело. Перед внутренним взглядом Пини промелькнул образ Фетисова, уже не надменного офицера, а пленного – униженного, понукаемого, подталкиваемого в спину немецким прикладом. Пиня перехватил взгляд Григорьева, и ему показалось, что поручик тоже это видел. И объяснить этого нельзя, однако видел.

¹⁷ Белолипецкий В. Е. «Зимние действия пехотного полка в Августовских лесах; 1915 год» Стр. 15. ЛитМир – Электронная Библиотека.

¹⁸ Успенский А. А. На войне. Глава XI – Бой у Махарце.

Пиня мотнул головой, отгоняя видение, поправил на плече винтовку, шагнул ближе к Григорьеву. Невысокий, щуплый, скорее мальчик, чем муж. Вслед за ним шагнули ещё трое. Остальные с растерянно-опустошёнными лицами затоптались на месте, не зная, на что решиться.

– Мы военные, мы будем пробиваться, пока сил хватит, – голос Григорьева звучал твёрдо, как на плацу.

От уверенного командного голоса Григорьева усталые голодные люди, готовые превратиться в захлестнутый паникой сброд, словно очнулись. Есть командир, есть дисциплина, есть армия.

Игорь Данилович Григорьев, кадровый офицер, участвовавший в русско-японской войне, не сдался, не опустил руки. В нём не ослабла воля к победе. Натура яркая, отважная, он принял твёрдое решение. Он был способен провести это решение в жизнь.

Все эти страшные дни отступления, блуждания по Августовским лесам Пиня шёл неумимо, несмотря на свой тщедушный облик. Когда бы Григорьев ни повернул головы, он видел сосредоточенный взгляд своего денщика, не услужливый, но готовый.

Пиня и сам не заметил, когда возникла в нём и выросла несокрушимая вера в Григорьева. Всё, что ни говорил или делал офицер, принималось со странным восторгом и незыблемой верой. Наверное, это называется силой характера. Вот и сейчас дрожь надежды пробежала по измученному телу Пини.

Дождались темноты. Пошли на восток, надеясь выйти к реке Неман в надежде, что русские обязательно будут удерживать восточный берег реки. За ним проходит железнодорожная магистраль, соединяющая Петроград с Варшавой.

Окружающий лес был враждебен. Седые, мрачные ели угрюмы. От каждого шороха заходило сердце. Каждая минута тянулась мучительно. Иногда раздавался одинокий выстрел или взлетала в небо ракета, после которой темнота казалась особенно густой и чёрной. Смертельно усталые люди изнемогали в борьбе со сном. Покуривали в рукав. Тупо всматривались в темноту, стараясь предугадать свою судьбу.

Пройдя сквозь густой лес, выбрались на поляну, упали без сил. Развести костёр не решились. Поднялся холодный ветер. С неба посыпалась то ли мелкая снежная крупа, то ли мелкий дождь. Люди не знали, куда забраться, как свернуться, чтобы хоть немного согреться. Сворачивались в клубок, втягивали головы в поднятые воротники, но влажная шинель не грела. Курился над лежащими кислый запах намочших шинелей и сапог. Мучительно томил голод.

К вечеру следующего дня остановились у опушки леса. Перед ними лежала деревня. Все окна в домах на главной улице были ярко освещены, манили теплом, отдыхом. Кто в ней? Русские? Немцы?

В разведку отправились двое – Евсей и Пиня. Отделились от стволов деревьев, неслышно поползли по снегу в сторону домов. Нежданно, ненужно выплыла из-под тучи луна. Осветила округу. Часовой, стоящий у крайней избы, выкрикнул по-немецки: «Кто тут? Стой!»

Поспешно отошли назад, вглубь леса. Вновь брели без сил, с трудом передвигая замёрзшими ногами. Когда же конец?!

Большая широкая поляна, окружённая холмами. Почти бежали через открытое пространство. Быстрее, быстрее. От морозного воздуха колело в груди. Откуда только силы берутся... Вот уже близко спасительные деревья.

Навстречу немецкий патруль. Что за трагичная судьба! Десятки винтовок чёрными дулами уставились на русских – замученных, запыхавшихся, с серо-зелёными лицами.

К Григорьеву подошел немецкий гауптман.

– Ваше высокоблагородие, он требует отдать оружие, – нервничая, низким простуженным голосом сказал Пиня и, глядя сбоку в лицо офицера, уже понимал, что тот не отдаст, что он решил, что не может, никак не может Григорьев принять оскорбительности плена,

что предпримет ещё одну отчаянную, безумную попытку. И знал, что бросится следом, что бы Григорьев ни сделал. Знал, что не оторвать его от Григорьева, не оторвать.

Дальше всё произошло быстро. Григорьев медленно вынул револьвер, медленно протянул, и когда рука немца почти коснулась револьвера – выстрелил и, пригнув голову, бросился в тёмную глубину леса. Пиня ринулся следом. Они летели, словно обретя крылья. Вслед сухо затараторили выстрелы. Больше. Чаше. Пули защёлкали по стволам деревьев. Одна догнала Пиню, пробила спину. Он остановился, прислонился к стволу. Григорьев обернулся, рванулся назад.

– Уходите, ваше благо... – изо всех сил крикнул Пиня.

Но крика не было, был шёпот, – даже не шёпот, шевеление губами. Григорьева прожгло щемящей жалостью, ошеломило на мгновение. Вот ведь был рядом человек надёжный, верный...

Пиня упал на колени, завалился назад, неловко подгибая ноги. Тонкая струйка крови ниточкой вытекла изо рта. Глаза умирающего заволочла молочная пелена. Льдинкой сверкнула последняя слезинка в углу глаза.

Через сутки Григорьев с пятью бойцами вышел к своим.

Глава десятая

Стоял март. Таяло. Атака захлебнулась. Занять немецкие позиции не удалось. Отступили. Вернулись в свои окопы, чувствуя, что вскоре придётся оставить и их. Санитары пытались оказывать помощь, выносить раненых с поля. Но было слишком светло. До наступления темноты это было совершенно невозможно. Как только на поле начиналось движение, с немецкой стороны скороговоркой строчил пулемёт. Пулемётчики пристрелялись. Пули ложились ровно и точно. Санитары отползали назад, под прикрытие брустверов. Раненые стонали, кричали, звали.

Чтобы очистить проходы в мелких окопах и дать живым понадежней укрыться, трупы выбросили за бруствер. И они лежали бесприютно и страшно. Каждый старался не смотреть на них, не видеть, не задумываться.

Согнувшись, Фёдор шнырял по траншеям, разыскивая Ивана. Искал, но не находил. Распросы ни к чему не приводили. Никто не видел его ни живым, ни мёртвым.

– Брось шлындать. Там он, в леске, – раздражённо сказал санитар. Фёдор долго смотрел в ту сторону, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь среди густых голых сплетённых ветвей. Грыз веточку, наполняя рот горечью. Неожиданно его начала бить дрожь. Перешла в озноб. А на небе чистом, синем – ни облачка. Воробы бойкие по проталинам скачут. И так захотелось Фёдору подальше от этого места очутиться. И сидеть тихо-тихо. В чаще где-нибудь.

Слюну горькую сквозь зубы протолкнул, полез из окопа, перевалил через бруствер. Прополз сквозь отверстие в заграждении из туго сплетённой колючей проволоки, что тянулась вдоль окопов. Пополз по влажной скользкой мазне, состоящей из снега и земли.

– Куда ты? – приглушённо выдохнул вслед санитар. – Дождись темноты. Эх, подстрелят ведь...

Фёдор с силой втянул в себя воздух, пополз дальше. Местность вокруг была фантастически, пугающе мрачной. Всё вокруг было растоптано и смято. Усеяно изуродованными трупами. Разбросаны, растянуты уже ненужные белые бинты, пропитанные свежей кровью. Повсюду валялись груды гильз, патронов, картечных осколков, цинковых коробок из-под патронов. На кустах висели окровавленные клочья мяса.

Спина Фёдора покрылась потом. Ладони заледенели. Несколько раз, когда начинал строчить пулемёт, он, обмирая от страха, вдавливался лицом в талую грязь. Но пулемётные очереди его не доставали, проходили выше. Перебитые пулями ветви сыпались на спину.

Ивана он нашёл. Тот был уже мёртв. Значит, приполз зря. Помочь уже было нечем. Белое лицо друга было совершенно нетронутым, лишь слегка искривлено гримасой. Голубые глаза безразлично смотрели в небо. Руки, чёрные, выпачканные землёй, судорожно зажимали кровавую рану на животе. Кровь на заскорузлой, забрызганной грязью шинели уже подсохла и побурела.

Грязной рукой Фёдор провёл по лицу Ивана. Закрыв голубые стеклянные глаза. Какая дистанция вырастает сразу между живым и мёртвым, какое отчуждение...

Столько погибших уже прошло перед глазами Фёдора, что воспринималось это почти равнодушно. Не изумляло, не заставляло страдать. Словно огромное число убитых не мог человек вместить в своей душе, не мог осилить. Притуплённые нервы отказывались реагировать. А тут, перед телом Ивана, мысли пошли вразброд, душа захолонула. Захлестнул ужас одиночества.

Сидел, тоскуя, прислонившись спиной к тёмному стволу бука. Скорбные мысли блуждали. Кисло пахло мокрой глиной. Шумно и мерзко каркали жирные вороны. Гулко перекачивались редкие оружейные выстрелы. Откуда-то доносились хриплые стоны умирающего.

Поменявший направление ветер вбил в ноздри тошнотный запах гниения и тлена. Фёдор повернул голову. В нескольких метрах от него лежал раздувшийся труп лошади, а под ним

гниющий труп кавалериста. Был ли это русский или немец, Фёдор не видел. Тело кавалериста было скрыто тушей коня. Но лицо его, вернее, то, что от него осталось, было ему хорошо видно. Синее гниущее лицо оскалилось неправдоподобно белыми крупными молодыми зубами. Прикрыть этот оскал уже было нечем. Губ не было. В пустых глазницах копошились трупные черви.

Сквозь подкатившее к горлу отвращение, сквозь удушающий страх Фёдор испытывал какое-то первобытное, властное любопытство к таинству смерти. Глаза как магнитом притягивались к шевелящимся глазницам. Невыносимый смрад распада заполнял лёгкие, ложился на губы, язык. Судорожно вздохнув, передёрнулся, сглотнул комок, стоящий в горле, перевёл взгляд на Ивана и, словно извиняясь перед бывшим другом, поправил ему полу шинели.

Тяжело всплыла мысль. Сколько жизней исчезло сегодня... Зачем? Но где-то внутри вместе с печалью и горечью жила эгоистичная радость, что убит не он, и странная, не обоснованная ничем уверенность, что с ним такое произойти не может.

Он пополз назад, в спасительный окоп. Немцы не умолкая били по окопам из тяжёлых орудий. Наши молчали. Снарядов не было.

Встал, побежал, вот он и окоп. Ещё только шаг, – сквозь прорубленное и ещё не отремонтированное проволочное ограждение. Ему показалось, что его ударило комом земли по правой руке. Не сильно. Но ноги почему-то остановили бег, словно наткнулись на невидимое препятствие. Чуть свернув голову, Фёдор взглянул на ушибленную кисть. Её не было. Вместо неё из комка смятого мяса и скрученных жил струёй била кровь. Фёдор схватил здоровой рукой повреждённую выше запястья. Одномоментно пронеслось в голове: «Ну вот, произошло, и слава Богу. И, кажется, не так это страшно».

В несуществующей ладони родилась жестокая, невыносимая боль. Она помчалась по руке вверх в плечо, сдавила горло, ударила в мозг. В глазах почернело. Фёдор упал как подкошенный.

Очнулся в полевом лазарете. Сквозь серую парусину виделся свет. Резко, навязчиво пахло йодоформом, приторно-кисло – испарениями пота, крови, гнойными бинтами.

Затем был полумрак вокзального зала в Харькове. Поезда с ранеными подходили к вокзалу один за другим. Сотни раненых вплотную лежали на полу, на замаранных тюфяках, набитых соломой. Каждый кусочек грязного пола, каждый уголок был занят. Между ранеными бродили смертельно усталые врач, фельдшер и две сестры милосердия в измятых передниках. Стоны, хрипы, зубовный скрежет. Землисто-серые лица раненых с умоляющими скорбными глазами.

Фёдор сидел на полу у стены. Поддерживал здоровой рукой раненую. Качал, словно ребёнка. Марля влипла в культю. Перед глазами плыл туман. Все казались ему тенями. Таинственными, призрачными. Вот из тумана появился врач. Лицо исхудалое, вытянутое. Огромный лоб с залысинами. Глубокие морщины по углам губ. Потянул руку Фёдора к себе. Фёдор дёрнул головой и провалился в забытье, как в бездонную пропасть.

Он вынырнул из забытья в серых рассветных сумерках. Обвёл палату недоуменным взглядом. За окном шёл дождь. Фёдор лежал, прислушиваясь к однообразному падению капель. Не заметил, как задремал. Проснулся от криков. Повёл вокруг себя мутным взглядом.

– Это из перевязочной, – объяснил голос с соседней койки. Фёдор замер, прислушиваясь, но не к внешним звукам, а к своим внутренним ощущениям. Вынырнет ли из сна вместе с ним и боль в его несуществующей руке. Но боль была отдалённая, ноющая, и Фёдор почувствовал себя почти счастливым.

– Что молчишь, братец? Говорить не можешь? – вновь раздалось с соседней кровати.

– Да нет, отчего же.

Познакомились. Сергей Михайлов, вольноопределяющийся¹⁹, бывший студент.

¹⁹ *Вольноопределяющийся* — военнослужащий Российской Императорской армии, поступивший на службу добровольно.

– Если бы знал всё это – да дня бы единого войной не дышал. Сбёг бы. Дезертиром и то лучше. Оно, конечно, без руки тяжко. Как работу справлять? Но зато жив. И ты не горюй. Подумаешь, одного глаза нет, но второй то есть. Да радоваться мы должны, что с такого ада живыми вырвались.

– Сукин ты сын. Горлодёр необразованный. Нет патриотизма в тебе. Для тебя Россия – звук пустой. Палечник несчастный.

– Шут его знает, что за патриотизма такая. Ну рви пуп, ежли хошь. Муха и та помирать не хочет. Ты на неё замахиваешься, а она удирать. Кто хочет, пусть воюет. И я за деревней на кулачки горазд. Да только ничего мне у немца не надо. Дать бы ему, по-хорошему, широкой лопатой по одному месту, да и домой в деревню. Да и не палечник я вовсе. Палечник-то левую ладонь из окопа высовывает. Авось попадут. А мне правую напрочь оторвало.

Они помолчали, но тоска по человеческому пониманию, участию толкала к душевному разговору. Фёдор продолжил:

– И в атаку страшно, и умирать страшно, и жестокость людская страшна. Не знаешь, что страшнее. Ты мне вот все уши о равенстве продудел, а я случай тебе расскажу. Под Перемышлем это было, солдатня с семьёй жидовской расправилась. Отца, мать убили, а дети остались. Стоят, к стене прислонившись, белые словно смерть. Трое их было. Девочка лет восьми. Мальчонка чуть помладше, и младенец у него на руках. Девочка чистая, кудрявенькая. Схватили да в кусты поволокли, на ходу платье на ней рвут. Пробовал отбить. Да куда там – озверели, зубы мне вышибли. Ещё счастливо отделался. Девочка кричит, как ножом сердце режет, а они, мужики здоровые, все в смех. Девчонка вскоре замолчала. Видать, померла под первым ещё, а может, придушили невзначай. Руки-то здоровущие, а она дитё нежное. Да может, так оно и лучше. Они-то дела свои всё равно закончили. Не глядели, жива ли.

А мальчонка, братик ейный, у стены стоит, трясётся весь. Я ему сдуру кусок хлеба протягиваю, – ну, чтоб успокоить аль отвлечь. Тоже придёт в голову глупость такая... А он как глянет на меня! Глаза огромные, к себе младенца прижимает. Такого ужаса в глазах я никогда более не видел. Да как заверещит – и бежать бросился, да туда, в кусты побег, где сестрёнка была. Ну, штыком его и прикололи. С младенцем вместе. И всё мысли дрянные в башку лезут. От войны они таки сделались али сразу-то зверями родились? Это ты как объяснишь?

Михайлов подтянул повыше подушку, сел, облокотившись о спинку кровати. Заговорил тоном профессора, читающего лекцию, чувствуя, что несёт свет в народные массы:

– Кроме всего плохого, что несёт война, кроме безнравственности, жестокости, уничтожения, смерти, война ещё и меняет человеческую личность. Меняет чудовищно. Человечество мгновенно скатилось к состоянию кровавого варварства. Одициание достигло предела. Сознание безнаказанности опьяняет. Плевать на мораль, совесть...

Фёдор слышал и не слышал. Слишком холодны были слова для его смятенной обожжённой души. Вдохнул несколько раз глубоко, судорожно, словно пытаясь таким способом освободиться, отогнать от себя гнетущие воспоминания, произнёс вялым усталым голосом:

– Ну они-то тоже сегодня живы, а завтра будут трупами разлагаться.

– Пытаешься оправдать. Насилие рождает насилие. Но жители-то в войне невиновны.

– Невиновны, – повторил Фёдор и замолчал, у него подёргивалась щека. Потом вновь вскинулся, заговорил лихорадочно, избавляясь от мучившей его мысли, – невозможно стало её в себе перебалывать:

– У всех дорога от рождения к смерти идёт. Но у каждого разная. И такая у некоторых скорая, что держись. Не успел родиться, свет посмотреть, как уже уходит, и дверь захлопнулась навсегда. А сердце всё щипет и щипет, и дети эти несчастные всё перед глазами стоят...

Глава одиннадцатая

«В первых строках моего письма я кланяюсь дорогим родителям моим – папаше Антипу Дорофеичу и мамаше Ульяне Афанасьевне – от многолюбящего сына. А также шлю поклон моим сестрицам Вассе и Домне. Желаю вам от Господа Бога доброго здоровья. Кланяюсь также всем родным и знакомым, соседям и соседушкам.

Был я в бою, но, слава Богу, остался жив, но выпал мне тяжёлый жребий. Мне раздробило правую руку. Нахожусь на излечении в лазарете и прошу папашу забрать меня, так как здоровье моё плохо и самому мне до дома не добраться. А письмо вам пишет сестричка, милосердная сестра...»

Скучный серый сентябрьский день клонился к концу. Небо затягивало клочковатыми свинцовыми облаками. От протопленной печи исходило ласковое блаженство. Пахло свежим хлебом, обжитым теплом.

Разложив письмо на столе, осторожно разгладив его складки пальцем, Васса читала, медленно, тщательно складывая слоги, наслаждаясь одновременно и смыслом письма, и процессом чтения. Закорючки, завитушки, а поди ж ты, всё рассказывают!

Ульяна сидела на лавке у печи, устало опустив руки на колени и покачивая головой. В глазах Ульяны стояли слёзы, но не те беспросветные, что были ещё вчера, когда каждый миг терзал её страхом за сына, а тёплые, счастливые. Родное лицо, по которому истосковалась её материнская душа, вставало перед ней, ослепляя своей яркостью. В воспоминании сын был таким, каким она видела его последний раз – молодым и весёлым. Суровые складки лица женщины разглаживались успокоенностью. И вместе с радостью теснились привычные женские заботы: «Пирогов напеку, какие любит. С капустой и грибами».

...Фёдор ожидал отца, сидя на каменных ступенях лестницы перед входом. Мимо него пробегали сестры милосердия, проходили санитары. Все кивали ему как знакомому и как бы спрашивали без слов: «Ждёшь?»

«Жду», – так же кивком головы отвечал Фёдор. Пальцы его, прокуренные, жёлтые от табака, мелко дрожали, держа сигарку. Нелёгкие мысли тревожили душу. То он печалился – и как это отец один тянет хозяйство? – то задумывался о своей дальнейшей судьбе. Не станет ли он слишком большой ношей для семьи, обузой? Не перенести ему тогда обидного для его самолюбия снисхождения.

Налетавший порывами ветер крутил сор, обрывки газет. Солнце временами появлялось в разрывах густых облаков, наполняя сердце осенней печалью о прошедшем лете. Постукивая колёсами, из-за угла появился мерин, впряжённый в телегу. Антип Дорофеич шёл рядом. Увидев сына, сидящего на краю лестницы, остановил мерина.

При появлении отца Фёдор неспешно поднялся. Поправил здоровой рукой подвязанную. Ничто в облике солдата не напоминало того юношу, что всего год назад рвался на фронт. Это был другой, неизвестный Антипу человек. Землисто-зелёный, со скорбными морщинами у губ и усталыми глазами. От худобы он казался одновременно и мальчиком, и старцем. Ушёл парнишкой, а теперь борода щетинится, морщины на лбу.

Антип Дорофеич содрогнулся от той массы страданий, что перенёс сын. Отцовское сердце облилось слезами. Вспомнилось его восторженное молодечество – ненужное, глупое и сейчас кажущееся особенно нелепым. Вспомнилось брошенное весело: «К севу вернусь».

В окна госпиталя на отца и сына напряжённо, тревожно глядели раненые. Все молодые, искалеченные, все в одинаковых коричневых халатах.

Глава двенадцатая

Снег в переулке казался синим. Избы словно утопли в снегу, помельчали. Зимой в деревне не погуляешь. Девушки выпросили у вдовы Анфисы баню на вечерок. Чисто вымыли пол. Хорошо протопили. Сели куделю²⁰ чесать, песни петь да парней ожидать. Бродят парни по селу с одной посиделки на другую.

К шестнадцати годам Васса, что называется, расцвела. Высокая, статная, сильная. Лицо белое, гладкое. Миндалевидные серые глаза, крупный алый рот, волосы цвета спелой ржи и гордый изгиб шеи. Щёки рдели, что кумач. Это они с Таисьей додумались перед посиделками щеки бадягой²¹ намазать, чтоб краше быть.

Обожжённые щёки огнём горели, но ловкие пальцы проворно щипали кудель. Бежала из-под пальцев ссученная нить. Быстро крутилось веретено на конце ниточки.

Но вот под окном раздались шорохи. В стекло легонько стукнули. Собаки залаяли громко, по-особенному по-зимнему.

– Ой, девчата, это ж парни пришли. Сейчас вскочат, лучину тушить почнут. Не поддавайтесь, – крикнула Таисья полным весёлого ожидания голосом.

В избу ввалилась гурьба шумных кавалеров. Девки притворно шарахнулись. Хохотали над чем попало. В возне и суматохе образовались пары для будущих свадеб.

Семён подсел к Вассе. Она стрельнула глазами вбок, но промолчала, не отодвинулась, лишь усерднее нить потянула.

Росточку Сёмка был невысокого, но черты лица его были довольно приятные, с таким отпечатком деревенской простоты. Сёмка обнял Вассу за талию, васильковые глаза его помутнели от желания, на лбу выступили капельки пота. Тяжело дыша, зашептал на ухо:

– Пойдём, пойдём в сарай, поиграем.

– Ишь чего захотел, – сверкнула глазами девушка и оттолкнула обнимающую её руку.

– Женюсь на тебе, ей-богу, женюсь. А хоть завтра сватов пришлю, – сладострастно посулил, засуетился Сёмка, засопел, пытаясь вновь притянуть к себе девушку. От него неопытно пахнуло немывтым телом, старой заношенной одеждой, махрой.

– Завтра, – насмешливо протянула Васса. – Да тятенька небось и не отдаст за тебя, за бедного. Он говорит, все бедные – дурные и ленивые. Тятка твой лодырь беззаботный, детей делать умеет, а кормить – так нет. Да и мать твоя дура непутёвая. На огороде летом всё сохнет, а она – нет чтоб к пруду сходить, воды принести, полить. Стоит жалится: дождя нет. И огород у вас весь в бурьяне. Так что убери руки, а то как дам в лоб – кувыркнёшься!

Возня в бане затихла, все прислушались. Потом звонко захохотала Таисья, за ней и все остальные. Лицо Семёна вытянулось, побледнело, губы сжались и даже посинели. Такая злость его взяла, что, забыв о притворстве, о ласковости, обнажая мелкую свою низость, он плеснул в Вассу грязными словами:

– Чего бережешься то? Небось не мыло, не смылится.

...В последних числах декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, отстояв службу, Антип Дорофеич степенно вышел из церкви. Надел шапку. Принаряженные Ульяна и дочери в цветастых шалях, в ботиночках высоких шнурованных, на каблучках, прошли вперёд, раздавая милостыню нищим на паперти.

Подошёл Панков Емельян Иванович. Маленький, сухонький. Лицо благостное, сияющее. Глаза притворно простодушные. В плюсовом коротком пиджачке, волосы, стриженные в кружок, коровьим маслом намазаны.

²⁰ Кудель — очищенное от костры волокно льна, конопли или шерсти.

²¹ Бадяга — пресноводная губка. Растёртая в порошок, применяется в медицинских целях.

– Чего тебе, Емелька? – спросил Антип.

– Надобно мне поговорить с вами, Антип Дорофеич, – просительно сказал Емельян и шапку сдёрнул поспешно, почтение показывая. Антип удивлённо взглянул, повторил, недоумевая: – Чего тебе?

– Вот какое дело, Антип Дорофеич, – Емельян помолчал, потом вскинул на Антипа голубые, не без хитрецы, глаза и, вновь прикрыв их, сказал: – Малец-то мой, Сёмка, по вашей Васке сохнет. Хочу сватов заслать, – и вновь глазами-то на Антипа – зырк. Антип даже опешил от такой наглости. Самый бедный, захудалый мужик в селе, пьяница, губошлёп и лодырь, живёт в гадкой, грязной, убогой избе, – а к нему в родственники набивается. Ерник сермяжный.

– Не присылай, – сказал твёрдо, – откажу.

– Это почему ж такое, Антип Дорофеич? Чем это мой Сёмка вам не угодил?

Но Антип Дорофеич не собирался снисходить до объяснений. Размеренным твёрдым шагом хозяйственного, знающего себе цену мужика он пошёл прочь. Но Емельян не отставал, он поспешил следом, и вновь раздался его голос, в который он влил столько елея, что невозможно было слышать его без подступающей к горлу тошноты.

– Ан не ошибиться бы вам, Антип Дорофеич. Времена-то иные настают.

Антип не оглянулся.

В воздухе плыло торжественное гудение медного колокола, долго дрожало в воздухе, постепенно замирая вдали, где-то в полях.

Глава тринадцатая

В конце августа теплынь стояла, словно летом. Базарная площадь кипела народом. На огромном её просторе сновали взад и вперёд пёстрые толпы.

На пыльном базарном выгоне весело и шумно. Пахло пылью, дёгтем, едким конским навозом, сеном. Фыркали лошади, мычали коровы, жалобно блеяли овцы, волю равнодушно и сонно жевали сено.

Васса на ярмарку принарядилась. Кофточка светлая с рукавами широкими, на запястьях стянутыми. Юбка пышная цветастая. Лента красная вокруг головы завязана, и бусы в три ряда.

Стоя возле телеги, Васса переминалась с ноги на ногу, расплетала и заплетала косу. Ей было томительно и скучно. Хотелось побродить среди лотков, палаток, будок, навесов, что расставлены на площади. Да одной боязно было. А отец с братом всё ходили, лошадей смотрели, ни на одной выбор свой не могли остановить. Походят, посмотрят, поторгуются, да в сторону отойдут советоваться. Барышники вокруг них вьются, словно пчёлы над цветами. За полы пиджаков хватают. Праздные зрители, советчики непрошенные рядом толкутся.

А рынок шумит, гудит, пестрит разными красками. Васса совсем уж заждалась:

– Тятенька, а тятенька, ну когда же пойдём, мне б гребёнку купить да платок новый.

– Да замолчи ты, оглашенная. Сказано, пойдём после дела.

Наконец Фёдор сжалился над сестрой:

– Да отпусти ты её, тятя. Пусть с краю походит. Куды она денется.

– А затолкают. Там такие молодцы бродят...

– Да с краю, тятенька. Ситцев посмотрю да и вернусь.

Антип Дорофеич поскрёб бороду, кивнул головой, соглашаясь.

Васса двумя руками по ленте провела, бусы поправила и не спеша направилась к лоткам. И чего только здесь нет! Сукна и овчины, шапки и рукавицы, ярко расписанная деревянная посуда, шёлк китайский, сукна голландские, кармазинные²². В огромных корзинах – яблоки и грибы. Веники свисают так, что прохожие их задевают головой. На столах тушки розовых поросят, битой птицы, колбасы, окорока. Девушка один прилавок оглядит, а уж следующий манит. Не заметила, как и в самую середину толпы попала. И хочет назад повернуть, да не получается. Давка, теснота. Все хлопочут, суетятся.

Вдруг откуда ни возьмись два парня появились. Один рыжеватый, с цепкими рысьими глазами, россыпью ржаных веснушек на белом примятом лице. У второго лицо простое, глуповатое, редкие белёсые волосы к потному лбу прилипли, мутные глаза в стороны разбегаются. Подгулявшие парни увидели Вассу – и к ней.

– Ишь какая ягодка свеженькая, да раскраснелась-то как... Дави её, Фомка, прижимай, – командовал рыжий резким голосом и слова говорил грубые, стыдные, похабные.

– Пустите, пустите, образины окаянные, охальники!

«Ой, совсем пропала», – билась мысль в голове Вассы.

Как вдруг она услышала спокойный, но решительный голос:

– Ты, девушку-то отпусти, не замай.

– Чаво-чаво? – откликнулся рыжий притворно-испуганным голосом.

– Отпусти, говорю, урод.

– А то что?

– А то голову тебе отмотаю.

Запыхавшаяся, отбивающаяся Васса на мгновение повернула голову в сторону говорившего и увидела высокого парня со смуглым удивительно приятным лицом. На гладкий загорелый

²² Кармазин – старинное тонкое сукно насыщенного красного цвета.

лый лоб спадала прядь кудрявых волос. Карие глаза под чуть приспущенными веками взглянули на девушку приветливо и грустно.

Липкие руки рыжего отпустили Вассу, и он стал протискиваться к парню. Васса, расталкивая всех локтями, стремительно бросилась вон из толпы. С трудом переводя дыхание, добежала до телеги.

– Ты чего это словно на пожар спешила? Аль обидел кто? – подозрительно покосился Фёдор.

– Да нет, нет. Это я так... – неловко пробормотала Васса, приглаживая растрёпанные волосы, поправляя сбившиеся набок бусы.

...Между тем парни тоже выбрались из толпы. И тут оказалось, что рядом с высоким стоят друзья. Не настолько рыжий был пьян, чтобы не понять, что им сейчас здорово могут накостылять. И хотя белёсый приятель Фомка рвался в драку, размахивая руками и бормоча «подь сюды, в рыло дам», рыжий поразительно быстро поменял свои задиристость и нетерпеливость на доброжелательную покладистость. Так что дело закончилось миром и, как водится, в кабаке. Надо ж было винца выпить, чтоб знакомство закрепить.

Под низким потолком висели чад и гул. Грязные лампы скудно освещали лица. Звон посуды, вой, смех, пьяные споры. Пахло стоялой горечью кухонного чада с крепким потом лошадей.

Рыжий привычно зубами откупорил полуштоф красноголовки²³, налил стакан водки, перекрестился и, хитро прищурившись, дунул в стакан.

– Это чтоб беса отогнать, – объяснил он. Аккуратно выщедив стакан, тут же налил второй, засмеялся: – Это чтоб быстрее в голову ударило.

Лениво пожевал солёной капусты, ожидая, пока выпьют другие. Лицо его постепенно разглаживалось. Придвинулся к Никифору.

– Вижу, девка тебе понравилась, – с ехидной вежливостью сказал рыжий и рассыпал смех – дребезжащий, вязкий, и бородёнка его редкая, растрёпанная мелко задрожала. Никифор покосился недружелюбно, спросил сухо:

– А тебе она знакома?

– А то, – рыжий значительно помолчал. – Антипа Михеева из Ольховатки дочь. Ваской зовут, – и подмигнул пакостно и стыдно.

...Долго догорал закат. Заревый румянец мягко отступал перед лиловым сумраком. В зыбком мареве тонули горизонты. Лишь верхушки берёз ещё горели золотистым цветом. Над скошенным лугом витало увядание. В роще куковала кукушка.

– Ах, Таська, милая, если бы ты его видела... Ладный такой. Дюже хорош. А как звать – не знаю.

– Совсем ополоумела, дурёха, – сказала Таиска, укоризненно покачав головой.

– Кудри надо лбом выются. Глаза внимательные и ласковые такие, смотрит, словно по щеке рукой гладит. Ах, кабы такой-то парень ко мне посватался... Прислонилась бы к нему, аж в дрожь бросает.

– Да, хорошо, – вздохнула Таисья. – Да чума их знает. В парнях-то все они хороши. А потом в такого долдона превратится, что спаси бог.

– «Неволя велит и сопливого любить», – грустно сказала Васса. – Так, подруженька милая, хоть помечтаем.

– Неволя... – насмешливо протянула Таисья. – А Сёмку смогла бы полюбить?

– Скажешь тоже...

Две девичьи головки, тёмная и светлая, склонились друг к другу, запели вполголоса:

²³ *Красноголовка* – плохо очищенная дешёвая водка. Полуштоф – 0,61 литра. Стоил 40 копеек.

Последний нонешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья.
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.
Заплачут братья мои, сестры,
Заплачет мать и мой отец,
Ещё заплачет дорогая,
С которой шёл я под венец.

В тёмном небе засветились звёзды. Туманной полосой тянулся к горизонту млечный путь. С дороги пахло дёгтем и пылью.

Глава четырнадцатая

«Спасителя» Вассы звали Ляхов Никифор Иванович. Было ему восемнадцать лет, и жил он на хуторе Пятихатки. Хутор был небольшим, всего-то пятнадцать дворов, привольно разбросанных по местности. К западу от хутора местность понижалась и плавно спускалась вниз в лощину, к мелкой речушке, которая здесь делала поворот и образовывала заводь. На восток тянулись густые дубовые рощи. Рощи внезапно обрывались глубоким оврагом, заросшим орешником и ежевикой. По весне в овраг с шумом стекала талая вода, и до середины лета земля здесь была влажной.

Дом Ляховых был небольшим, но опрятным. Глиняные стены побелены, крыша покрыта свежей соломой, наличники вокруг окон выкрашены в синий цвет.

Детство Никифора начиналось безоблачно и довольно беспечно. Мать его баловала, старшие сестры оберегали. Три года Никифор проучился в церковно-приходской школе. Закон Божий, церковное пение, письмо, арифметика, чтение. Учился Никифор с удовольствием. Чтение тянуло неодолимо. Очень хотелось продолжить учёбу.

Но беда всегда приходит внезапно: в одну зиму от холеры умерли родители, оставив на четырнадцатилетнего Никифора и дом, и сестер. И Никифор справился, вытянул хозяйство. Был он спокоен, немногословен, в работе неугомон.

Сестры, Степанида да Прасковья, были девушками крупными, широколицыми, ленивыми. Давно пора было им замуж, да всё женихов не подбиралось.

Сватами к Михеевым поехали крёстный Никифора, Миколай Фаддеич, мужик лет пятидесяти, похожий на доброго пса с виноватыми влажными глазами, и Степанида, просто сгоравшая от женского любопытства: кого там выбрал её братец? Ехали, надо сказать, спокойно и даже весело. Об отказе ни у крёстного, ни у Степаниды даже мысли не возникало. Дорогой всё больше молчали. Крёстный, поглаживая опрятную бороду, предвкушал водочку из новины. Степанида продумывала важность своего поведения. И как зайдёт, и что скажет. Как бы достоинства своего не уронить... Плотной рукой поправляла Степанида светлую шаль с набивным рисунком, разглаживала на колене бахрому.

Дом Михеевых произвёл на сватов сильное впечатление своей добротностью, аккуратностью построек. По двору бродили куры и гуси. Из сарая доносилось бляение овец. У Степаниды лишь теперь промелькнула мысль о возможной неудаче.

Опыта в сватовстве у неё не было никакого, но чтобы всё прошло «без сучка без задоринки», Степанида, вспомнив суеверия и приметы, сначала коснулась косяка двери плечом, и лишь затем позволила крёстному постучать. Вошла, неспешно расправив плечи, с этакой тяжеловесной уверенностью. Антип Дорофеич вымерил её коротким взглядом.

– Мы не торопимся сбыть дочь с рук, – сказал Антип Дорофеич. – Молода.

– Чего ж тянуть-то? А как станут «обегать женихи», – легко отвела Степанида возражение, посчитав, что это обычное для отца желание увеличить цену товару. Но Антип Дорофеич усмехнулся, сказал с презрительной расстановкой:

– Оно, конечно, хочется ему нашу Васку за себя взять. Девка у нас видная, здоровая, работающая.

– Верно, верно, Антип Дорофеич, – соглашалась Степанида, ещё не улавливая, куда клонится разговор, – в зажиточном-то дворе, у хорошего хозяина и бабы в порядке, всё делать умеют. Но и зятьёк-то хорош, молодец саженный. Сирота, да малый с головой и хозяин строгий. С нуждой не спознаётся. Будет ваша краля жить как у Христа за пазухой.

– Что-то не слышал я о больших-то достатках, – парировал Антип Дорофеич.

– Побойся Бога, – слегка занервничала Степанида, – парень с четырнадцати лет хозяйство самолично загадывает. Дай срок. Развернется.

– Ну, кады развернётся, тогда и милости просим.

А ныне вот тебе Бог, а вот и порог.

Степанида обомлела. Тут лишь она поняла весь смысл предыдущего разговора. Она выпрямила спину, выдвинула грудь, ноздри её стали раздуваться, втягивая воздух с шумом насоса.

– Ты говори, говори, да не заговаривайся. Ишь чего о себе возомнил! Королевича ему подавай! – повышая голос, заговорила уязвлённая отказом женщина. – Да небось и не пойдёт королевич-то в ваш хлев. Чего чванишься? Тьфу чтоб вам провалиться! Чума вас заberi! Будете ещё мужа для дочери добывать.

Простодушный крёстный мял в руках кепку, его лоб пробороздили морщинки. Он и слова вставить не успел, как всё уже было кончено. Разобиженные сваты покинули дом. Пошли по двору. Степанида впереди. Воробьи испуганно порскнули из-под её ног. И куда только подевались её достоинство и гонор! Лицо от срама стало кирпично-красным.

Миколай Фаддеич неуверенно плёлся следом и то останавливался, разводя руками, то, крякнув, намеревался надеть картуз, да вдруг забывал и продолжал идти с непокрытой головой. Лицо его было несчастным, как у незаслуженно наказанного пса.

Домна не утерпела, выскочила на крыльцо, пустила вслед частушку. Благо слушателей на деревенской улице хватало.

– На дружке шапчонка после дядюшки Парфёнка, на дружке штанишки после дядюшки Микишки... – следующей строчки допеть не успела. Степанида расторопно рванулась назад и злобно вlepила девчонке оплеуху. Крёстный аж присел. Торопливо перекрестился:

– Свят, свят, свят.

Ударив девочку, Степанида струсила, быстро взгромоздилась на телегу. Огрела лошадь кнутом. Та словно опешила, взбрыкнула и, показав несвойственную ей прыть, пронеслась по улице, унося опозоренных сватов.

Услышав вопль дочери, Ульяна со словами «Дитю бьёшь!» хотела выскочить на крыльцо, но неожиданно раздумала, наткнувшись на полный отчаяния взгляд Вассы. Так что вернувшейся в izбу Домне, которая рассчитывала на материнскую поддержку и ласку, осталось лишь жалко всхлипывать.

– Не слишком ли ты, отец, крут? – спросила Ульяна, глядя на мужа усталыми глазами.

– Поговори мне, – проворчал Антип. Но Ульяна не подумала уняться, заступаясь за свою любимицу:

– Я так мыслю, что по неразумию ты отказал. Может, и впрямь человек-то работающий и сердцем бесхитростный. А вот ещё разве ж плохо, что не будет у Васки свёкра и свекрови, что сама себе хозяйкой будет? Али ты не знаешь, как свекрови над молодой снохой измываются, как жилы с них тянут, в три погибели гнут?

– Да сестры тоже в энтем деле не отстанут. Золовка – змеиная головка.

– Сестры замуж повыходят.

– Замуж... Кто их возьмёт? «Вековухи». Эх, – выплеснул он главную свою печаль, – только-то девка в силу начнёт входить... Тут бы её и запрячь. Так уж под воротами стучат – отдай мужу. Эх, мужиков надо родить. Девки-то – один разор...

После того как крёстный со Степанидой вернулись с отказом, Никифор загрустил. Работа из рук валилась. На сестёр ругался.

– Отстань, дьявол. Работаем не хуже других, – лениво отбрыкивались сестры.

– Не хуже. То машете руками как сумасшедшие, то сидите без дела. Разве так крестьянки должны работать? Сначала загадать работу надо, а потом и выполнять её старательно. Не спеша, но и не отставая. Равномерно.

– Ишь чего захотел – равномерно! – возмутилась Степанида.

– Слово-то како выискал: равномерно. Не могём его, касатик, знать, – вторила Прасковья.

– Женись, милоч, да и гоняй её, голубушку, равномерно. Уморил совсем, – сестры зашлись в смехе.

Дни текли быстро, полные нескончаемой крестьянской работы. А в голове своим чередом бежали мысли. Девушка не выходила у Никифора из головы. Он не спал ночами, но какая-то непривычная внутренняя расслабленность не давала ему собраться с мыслями и решить, как же быть. Из этого состояния его вырвало происшествие, в принципе, обыденное, заурядное.

Однажды под вечер пьяный сосед, вернувшись с гулянки, ужаснейшим образом избил свою жену. Бил безжалостно и страшно. Женщина выбежала из избы, но мужчина, догнав её, сильнейшим ударом сбил с ног. Мужики, бабы, дети окружили бьющего, не вмешиваясь, смотрели с ленивым любопытством и равнодушием. Крихтели, охали, руками разводили.

– Характер у Кузьмы хуже, чем у чёрта. Гляди, как прикладывает, – восхищённо сказал старик в толпе.

– За что бьёт то?

– А кто его знает, пьяного. Можя, слово како сказала, ему не пондравилось, можя, кликнул «подь сюды», – пьяному-то завсегда охота, а она не подошла. А можя, и так, со скуки.

Никифор протиснулся сквозь толпу, бросился, оттолкнул бьющего, крикнул срывающимся голосом:

– Что ж мы за народ такой безжалостный? Православными себя кличем, а веры-то и нет. Где в вас сострадание? Тёмные вы...

– Оно конечно, – чесали в затылках одни, соглашаясь.

– Да небось не помрёт, – говорили другие.

– А без строгости нельзя. Как без строгости? – рассуждали третьи.

Виновник этого дикого безобразия, отброшенный в сторону, стоял, покачиваясь с носка на пятку и, угрожающе глядя на Никифора налитым кровью взглядом, проговорил:

– А ты не лезь, Никифор Иванович, неча под ногами вертеться. Свою сначала займей да и учи.

Избитая женщина, простоволосая и истрёпанная, продолжала лежать на земле у ног мужа, уткнув лицо в согнутый локоть руки. Плечи её тряслись в рыдании, по изломанному телу пробегала дрожь. Кузьма с шумом втянул в себя воздух, потом, прижав указательным пальцем ноздрю, сморкнулся и, повернувшись, пошёл догуливать. И было в этом его заключительном поступке столько гнусности и безобразия, что Никифор почувствовал необыкновенную тяжесть в сердце. Кто ж виновен в этом беспределе? Где причина злобы, тупости, матерщины?

Эта довольно обычная в деревне сцена сильно задела Никифора. Он вдруг представил на месте лежащей на земле женщины Вассу Жалость облила сердце, оно забилось томительно и беспокойно. Ему хотелось обдумать свои чувства. Он вывел из сарая лошадь, повёл её к реке. И пока счищал соломенным жгутом засохшую грязь с тела и копыт животного, обмывал лошадь, укрывал её попоной, неприхотливая лошадка тихо пофыркивала, словно одобряя работу хозяина.

За работой и думами не заметил, как солнце спустилось за рощу. По воде протянулись дрожащие тени. В туманной дали на юге затерялись луга.

Долго сидел Никифор на бугре. Каждый глоток влажного воздуха словно очищал его от скверны, гасил тоску. Любовь и нежность овладевали сердцем. Ему всё чудилось милое девичье лицо, глаза, сверкнувшие ему навстречу признательностью и любопытством.

Серебристый туман забелел над водой, донёсся протяжный петушинный крик. Приближалось утро. Скорбь, всколыхнувшаяся в Никифоре, улеглась, обида, вызванная отказом, улетучилась. Всё, что случилось с ним, теперь не казалось ему таким безысходным.

– Да не уступлю! – вдруг решил он, и лицо его затвердело. Он вернулся в дом и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под кудрявую голову, заснул крепким сном без сновидений.

... В воскресный день утром Никифор молча оделся. Поверх красной косоворотки надел синюю поддёвку, расчесал на косой пробор волосы. Сестры с любопытством смотрели на его приготовления. Отвечая на их вопрошающие взгляды, Никифор сказал.

– Сам поеду сватать. А не отдадут... – он помолчал, по суровел лицом – на шее двинулся кадык – и воскликнул неожиданно: – Зарежу её и себя.

Он и сам не знал, почему так сказал. Слова вырвались. Много лет спустя, когда ему припоминали эти слова, он конфузился: «Придумаете тоже... Хвантазёры».

Но сейчас Степанида перепугалась не на шутку.

– Да ты что, шальной?! – воскликнула она ошарашенно. Никифор, не отвечая, решительно вышел из избы, сел боком на грядку телеги. Низкорослая лохматая лошадка побежала мелкой рысцей. Степанида заметалась по горнице, крикнула Прасковье:

– Беги к крёстному, скажи ему, скажи! Ой, беда!

– Да что сказать-то?

– Да всё скажи, дура! За ним надо ехать, – шумела Степанида, вытаскивая из сундука праздничную одежду. – Ой, что будет... Да что ты впала в столбняк, беги! Ой, родимые мои! Да кто знает, что впрямь у него на уме... Совсем ведь извёлся парень!

Осенний воздух был холоден и прозрачен. И вблизи дороги, и вдали, на холмах, в золотисто-буrom уборе стояли грациозные берёзы, осины, дикие груши. Прибитая недавним дождём пыль не поднималась вверх, а рассыпалась по обе стороны деревянных колёс. Томительно пахло прелым листом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.